ФРИДРИХ КРАУЗЕ

ПИСЬМА С ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Фридрих Краузе

Письма с Первой мировой (1914–1917)

«Нестор-История»
1914–1917

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)5

Краузе Ф. О.

Письма с Первой мировой (1914–1917) / Ф. О. Краузе — «Нестор-История», 1914–1917

ISBN 978-5-4469-0168-5

В книге опубликованы письма 1914–1917 гг. старшего врача санитарно-дезинфекционного отряда Ф. О. Краузе, служившего в русской армии на территории Галиции, Волыни и в Румынии. Письма адресованы его невесте, а потом и жене, врачу Морозовской детской больницы в Москве А. И. Доброхотовой, впоследствии ставшей чл. – корр. Академии медицинских наук и главным педиатром Министерства здравоохранения СССР. В письмах, носивших характер дневниковых записей, рассказывается о врачебной деятельности и повседневной жизни автора. В его суждениях о текущих военных и политических событиях в значительной мере отразились общественные настроения в стране и в армии. Письма представляют большой интерес как исторический источник и подлинный документ переломной эпохи, написанный очевидцем и непосредственным участником драматических событий в истории России. Помещенные в книге выдержки из ответных писем Доброхотовой рисуют яркую картину московской жизни военных лет. Книга предназначена как для специалистов по истории войны и революции, так и для широкого круга любителей отечественной истории.

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-4469-0168-5

© Краузе Ф. О., 1914–1917
© Нестор-История, 1914–1917

Содержание

Фридрих Краузе и его письма 7
Письма Ф. О. Краузе 18
1914 18
Конец ознакомительного фрагмента. 114

Фридрих Краузе
Письма с Первой мировой (1914–1917)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Ответственный редактор Л. А. Булгакова

Редакционная коллегия:
д-р ист. наук Б. И. Колоницкий,
д-р ист. наук Н. Н. Смирнов,
д-р ист. наук А. Н. Чистиков

Рецензенты:
д-р ист. наук Н. С. Андреева
и
канд. ист. наук С. В. Куликов

Составители:
О. Ф. Краузе и Л. А. Булгакова

© О. Ф. Краузе, 2016 © Л. А. Булгакова, 2016
© Издательство «Нестор-История», 2017

Фридрих Краузе и его письма

«Любовь, война и революция» – так можно было бы озаглавить эту книгу. Перед нами история любви двух молодых людей, создания семьи и ее выживания в драматической обстановке крутого поворота в истории нашей страны. Письма дают нам возможность погрузиться во внутренний мир этих людей, посмотреть их глазами на события того времени и увидеть не пафосную и далеко не героическую изнанку войны. Герои этой книги – совсем не те герои, о которых слагают песни и рассказывают легенды, они просто жили и трудились в суровых обстоятельствах своего времени.

Фридрих Оскарович Краузе был человеком сугубо мирной профессии – детским врачом. Он родился в 1887 году в добропорядочной немецкой семье учителя мужского реального училища при приходе старейшей евангелическо-лютеранской церкви Св. Михаила в Москве. Его родители были уроженцами Курляндии, нынешней Латвии. С детства мальчик пристрастился к чтению и впитал в себя немецкие и русские культурные традиции. Дома говорили по-немецки, в гимназии – по-русски, и оба языка стали для него родными. Хотя Фридрих Оскарович не утратил духовной связи с родиной своих предков, он ощущал себя москвичом.

В 1911 году он окончил медицинский факультет Московского университета и вскоре был принят ассистентом, т. е. стажером, в недавно построенную на средства купца В. Е. Морозова и названную его именем детскую больницу. Ныне она широко известна как Морозовская городская детская клиническая больница. В 1913 году он познакомился с пришедшей в эту больницу работать ассистентом выпускницей Московских высших женских курсов Александрой Ивановной Доброхотовой. Общие интересы сблизили молодых людей, они полюбили друг друга. В июле 1914 года влюбленные впервые отправилась вместе отдыхать на живописные острова побережья Великого княжества Финляндского, где провели две счастливейших недели своей жизни.

Началась война, и в одночасье рухнули все планы, которые они строили, путешествуя в финляндских шхерах. Фридрих был призван по мобилизации на военную службу и в первые же дни войны отправился к месту формирования 253-го запасного госпиталя, в Воронеж. Ни на один день не забывал он об оставшейся в Москве невесте и посылал ей письма, больше походившие на дневниковые записи. В письмах он делился с ней своими мыслями и переживаниями, рассказывал о своих заботах и повседневной жизни. В определенной мере в них отразились общественные настроения военной поры.

Молодой врач с досадой и негодованием писал о неразберихе военного времени, медленном «развертывании» и «свертывании» медицинской службы, ее неудовлетворительной организации и недобросовестности некоторых коллег, засилье канцелярщины и бумагопроизводства, отсутствии живой, нужной работы, в результате чего «мы всё просрачиваем». Это словечко, позаимствованное им из речи А. Ф. Кони, не раз приходило ему на ум.

Краузе не терпелось приступить к своим врачебным обязанностям. Временами он впадал в уныние, томился от скуки и мечтал о возвращении к любимой работе детского врача. Его интересы не ограничивались рамками медицинской профессии. Фридрих Оскарович обладал широким кругозором, не мыслил своей жизни без книг и на войне не оставил своего пристрастия к чтению. Особенно пристально он следил за газетными новостями и стремился разобраться в происходящих событиях.

В годы Первой мировой войны свыше 300 тыс. из 2 млн 400 тыс. этнических немцев русского подданства служили в армии. Двойственность национальной идентичности наложила характерный отпечаток на их восприятие войны. Как и многие другие русские немцы, Краузе переживал подлинную душевную драму. Для него «нашими» были и немцы, и русские. Он задумывался о причинах развязывания войны Германией и первоначально отказывался верить

сообщениям о зверствах немцев, считал их голословными, преувеличенными, разжигающими низменные националистические страсти.

Дальнейшие события: оккупация нейтральной Бельгии, разрушение немецкими войсками Реймсского собора и сожжение богатейшей библиотеки Лувенского университета – повергли его в шок. Краузе пытался объяснить этот вандализм безумием отдельных начальников, ошибкой, военной необходимостью, но все эти объяснения не устраивали его самого.

В смятении Фридрих Оскарович искал и не мог найти оправдания немецким ученым и писателям, выступившим в поддержку действий военщины и восторгавшимся ее «подвигами». Он был уверен, что великая страна не могла внезапно превратиться в варварскую. В письмах Краузе размышлял о психологии немцев, о двух типах немецкого национального характера и с сожалением констатировал, что тон задает «пруссак новейшей формации», а расплачивается за это немецкий народ. Тем не менее его не покидала надежда, что возродится старая Германия, культурные ценности которой никогда не могут исчезнуть.

Краузе опасался травли русских подданных немецкой национальности, указывал невесте, как много немецких имен и фамилий в списках убитых и раненых, и не мог удержаться от слез, читая сообщение о погромах немецких магазинов в Москве. Он считал, что русским немцам нельзя поддаваться шовинистическому угару, а следует хранить «старые заветы», честно исполнять свой профессиональный долг и стремиться к скорейшему окончанию войны. «Врач обязан быть прежде всего врачом!..» – утверждал Краузе. Всю свою последующую, полную тяжелейших испытаний жизнь он оставался верен этому принципу.

В начале октября 1914 года госпиталь, в котором служил Фридрих Оскарович, отправился из Воронежа в ближний тыл армии, на прежнюю западную границу Российской империи с Австро-Венгрией, в городок Волочиск, примерно в 175 км к востоку от Львова. Затем недолгое время в ожидании нового назначения Краузе служил врачом в дружине государственного ополчения в Житомире, куда его перевели из-за обострившегося миокардита – осложнения после дифтерии, которую он перенес в Морозовской больнице, заразившись от маленьких пациентов.

В самом конце апреля 1915 года Краузе был назначен старшим врачом 22-го летучего санитарно-дезинфекционного отряда, который еще только формировался. В июне он вместе со своим отрядом отправился в распоряжение 8-й («Брусиловской») армии, входившей в состав Юго-Западного фронта.

По ходу войны его отряд часто передислоцировался в Галиции, на Волыни и в Румынии.

Будничная служба санитарного врача выглядит рутинной и совсем не героической, но она была чрезвычайно важна и необходима. Во время войн смертность в войсках от болезней и эпидемий нередко многократно превышала потери, понесенные в боях. С развитием медицины пришло понимание значимости санитарных мероприятий в армии. Задача военно-санитарной службы заключалась в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия войск, предотвращении эпидемий и их прекращении, если они все-таки возникали. Санитарные врачи подвергали свою жизнь опасности заражения и переносили все тяготы походной жизни.

Работа не пугала Краузе, он был рад открывшимся перед ним перспективам и добросовестно отнесся к своим новым обязанностям. Фридрих Оскарович регулярно объезжал села и деревни в районе VIII армейского корпуса, осматривал дома, дворы и колодцы, проверял состояние лазаретов, перевязочных пунктов и околотков, выявлял очаги заразных заболеваний, определял степень снабжения населения продовольствием, занимался лечением и вакцинацией местных жителей, неуклонно проводил санитарные мероприятия и дезинфекцию местности, вел борьбу с холерой, тифом, оспой, дифтерией, цингой. Порой ему приходилось по несколько дней проводить в разъездах, проделывая верхом по 45–55 верст, и он в шутку называл себя кентавром.

На своем посту Краузе бил тревогу, добиваясь разрешения изолировать и лечить местных жителей в госпиталях, сообщая в санитарный отдел штаба армии об отчаянном положении беженцев и необходимости срочной присылки эпидемических и питательных отрядов. Скромный лекарь в чине титулярного советника, каковым Фридрих Оскарович оставался до конца своей службы в армии, не останавливался перед тем, чтобы вступить в конфликт с командирами военных частей, добиваясь от них соблюдения элементарных санитарно-гигиенических требований: мыть солдат в банях, пропускать их вещи через дезинсектор, чистить помещения и т. д. и т. и. Краузе ощутил, что его работа приносит конкретные результаты, и начал испытывать некоторое удовлетворение.

Однако его обеспокоенность за будущее страны нарастала. Он писал невесте о коренной ломке устоев, потрясении и надломе народной психики, предвидел неотвратимые перемены и наступление «новой геологической эпохи» в жизни страны. От былых поисков хоть какого-то разумного объяснения агрессии кайзеровской Германии не осталось и следа. Краузе глубоко переживал за судьбу России. Он не чувствовал себя чужаком, но его крайне удручало изменившееся представление русских о немцах – теперь немец стал восприниматься как «безжалостный и неумолимый железный человек… человек с гипертрофией воли и рассудка и атрофией чувства». В письмах Фридрих Оскарович признавался, что хотел бы «быть в самой гуще жизни, а не на задворках ее», и с гордостью сообщал, что один из коллег назвал его «хорошим и умным русским интеллигентом в лучшем смысле этого слова».

На протяжении всей своей военной службы Краузе не переставал жаловаться на изводившую его «канцелярию». Его забрасывали приказами, циркулярами, предписаниями и требовали отчетов об их выполнении. По словам Краузе, он купался в «бумажном море», которое грозило захлестнуть его своей мутной волной. Бывало, он целыми днями корпел над бумагами, задним числом сочиняя приказы по отряду, приводя в порядок счета и занимаясь мелочной денежной отчетностью в ущерб санитарной работе.

Чтобы справиться со всей этой «писаниной», ему приходилось обращаться за помощью то к опытной в таких делах, как он выражался, «канцелярской крысе» из санитарно-гигиенического отряда, то к старшему писарю казачьей сотни, который брался за бакшиш привести в порядок его канцелярию, то вступать в «соглашение» с делопроизводителем соседнего лазарета. Много хлопот доставляли Краузе и хозяйственные заботы. Медицина уходила на задний план, и он сетовал, что забывает азы своей профессии. Со студенческой скамьи он мечтал устроить где-нибудь в провинции собственную детскую лечебницу на кооперативных, некоммерческих началах. Он и на войне не оставлял эту идею и стремился увлечь невесту своими планами на будущее.

Весной 1916 года в жизни Фридриха Оскаровича и Александры Ивановны произошло важное событие. 29 апреля во время отпуска Краузе они обвенчались в Москве. А уже 1 мая «молодой» отправился обратно в свою часть под Ровно. После женитьбы он «до скрежета зубовного» затосковал по мирной жизни и «настоящей культурной работе». Обострилось его чувство оторванности от «твердой почвы», «от всего родного, любимого». Фридрих Оскарович жаждал мирного, созидательного труда. В письмах он то и дело жаловался жене на прозябание и переутомление не от работы, а «от безделья нежеланного и вынужденного».

Вскоре его «безделью» был положен конец. Летом Краузе участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Успешные действия русских войск на этом направлении побудили Румынию в августе вступить в войну на стороне Антанты в надежде на территориальные приобретения. Новый союзник только добавил проблем России. Ввиду слабости румынской армии на помощь ей пришлось оттянуть группировку русских войск с других направлений военных действий. В Румынию передислоцировался и отряд Краузе. Значительная часть Румынии была оккупирована противником. 3 декабря 1916 года был создан Румынский фронт русской армии,

включивший в себя и остатки румынских войск. В декабре – январе наступление войск германской коалиции было остановлено. На фронте наступило затишье.

Писем за 1916 год сохранилось совсем немного, да и те что уцелели написаны скупо по соображениям военной цензуры. В ноябре переписка супругов надолго прервалась. Впоследствии Фридрих Оскарович намеревался написать о событиях этого времени, но его замысел остался неосуществленным. Однако даже по кратким упоминаниям Краузе понятно, как тяжело ему пришлось в разгар боевых действий в Румынии и каким «будничным ужасом» была наполнена тогда его повседневная жизнь.

16 января 1917 года в Москве у молодой семьи родилась дочь, которую нарекли Ириной, по имени греческой богини мира. Фридриху Оскаровичу на короткое время удалось вырваться к жене, чтобы поддержать ее в этот момент. Война затягивалась, и военная служба в Румынии все больше тяготила его. Вновь и вновь

Краузе писал о своей тоске по «настоящей медицине», чувстве культурной оторванности и истрепанных нервах у него и у его товарищей по службе.

Известие о Февральской революции застало Краузе в Румынии. Он с восторгом и ликованием отнесся к революции, крестился и со слезами радости читал первые сообщения и манифесты. Его письма весны – лета 1917 года особенно интересны, в них ярко отразились стремительные перемены в стране и в армии. Фридрих Оскарович был увлечен происходившими политическими событиями, нетерпеливо ждал газетных новостей, много рассуждал о политике и теперь уже писал откровенно, без обиняков и оглядки на цензуру.

В современной историографии ведутся острые дискуссии о причинах революции 1917 года, и конца им не видно. При объяснении исторических явлений Краузе отводил почетное место «психологическим моментам». Психологический, идейный, культурный и т. п. факторы выдвигались для объяснения закономерностей общественного развития критиками экономического материализма, придававшего исключительное значение экономическому фактору.

Фридрих Оскарович не являлся приверженцем экономического материализма, ему претили жесткий экономический детерминизм и абсолютизация значения классовой борьбы. С его точки зрения, революция была вызвана не обострением классовых противоречий, а изменением психики людей. Как врач Краузе был склонен рассуждать о войне и революции в категориях психиатрии. При этом его оценки этих проявлений «массового психоза» были прямо противоположными. Если война отбрасывала человечество в культурном отношении назад, то революция позволяла сделать «огромный шаг вперед».

По мнению Краузе, революция стала быстрой и сравнительно легкой, так как защитников старого строя уже не осталось. Разумеется, монархисты никуда не делись, но не они определяли «политическую погоду» в стране. Фридрих Оскарович был прав в том, что сознание негодности старого режима и необходимости нового устройства жизни пустило «прочные корни во всех слоях и классах населения». В этом он видел громадную разницу с 1905 годом, когда понимание необходимости государственного переустройства «не проникло дальше сравнительно тонкого слоя городской интеллигенции и еще более тонкого – сознательных рабочих».

Что касается поведения масс, то в Первую русскую революцию они только подхватывали и превозносили лозунги, но отступили, столкнувшись с серьезным противодействием старой власти, в руках которой оставался «весь правительственный аппарат и средства воздействия». За время мировой войны в общественной и народной психологии произошел коренной сдвиг, что и повлекло смену существующего строя. В сущности, это мнение Краузе не противоречит известному марксистскому постулату, что идея (или теория) становится материальной силой, когда она овладевает массами. Другой вопрос, как и почему это происходит.

Крушение самодержавия многими было воспринято с воодушевлением – как великий праздник торжества свободы и справедливости. Сторонники у старой власти были, а вот защитников действительно не оказалось. В решающий момент, когда перед Николаем II встал вопрос

об отречении от престола, он не нашел опоры даже среди главнокомандующих фронтами и Балтийским флотом.

Плыть против бурного течения и погибнуть под «обломками самовластья» тогда никто не решился.

Хотя поначалу Фридрих Оскарович был настроен оптимистически, в его письмах зазвучали тревожные нотки, которые быстро усиливались. Он не сомневался, что возврат к прошлому невозможен и любые попытки восстановления старой власти будут обречены на провал. Поначалу Краузе усматривал опасность слева, в прямолинейной тактике Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, который действовал «в интересах партии и класса, а не в интересах всей нации».

Большой ошибкой левых партий и даже «преступлением перед отечеством» он считал проведение «голых принципов» и внесение вредного брожения в армию, лишавшую ее сплоченности и стойкости. Демократические нововведения в войсках Краузе расценивал как несвоевременные, ослаблявшие дисциплину, дезорганизующие армию в разгар войны, что вело к анархии и полному развалу в стране.

Резкое неприятие вызывали у него и настроения тыла. «У нас создается такое впечатление, что там, в тылу сплошной праздник, сплошные демонстрации со стягами, хождения скопом и в розницу в Таврический дворец, красивые речи и призывы, – а по существу, если не игнорирование, забвение массами задач фронта, то всё же несомненное отодвигание этих задач на задний план», – писал Краузе. Его тревожила предстоящая смена кадрового состава армии и приход нового пополнения, привыкшего митинговать и самоуправствовать.

Не прошло и месяца после падения самодержавия, как Краузе написал: «Мы сидим на вулкане, но взрыв этого вулкана уж не сулит нам новых свобод…» И далее: «Боюсь, что нам суждено дождаться краха». Опасные «симптомы» он увидел в развернувшейся борьбе за власть. Однако главная причина предстоящих потрясений, на его взгляд, заключалась не в отсутствии единения общественных сил, двоевластии и даже не в действиях левых партий, «отказавшихся от слишком острой принципиальной постановки вопросов, а в стихийной некультурности масс, не подчиняющихся никаким партийным лозунгам (ведь в партии у нас организовано ничтожное меньшинство населения)». С самого начала революции он утверждал, что расчет на самосознание и благоразумие масс неоправдан, поскольку требовал от них высокой культуры, а чего не было – того не было.

Фридрих Оскарович сознавал, что является свидетелем «гигантских исторических событий». С волнением он писал жене, что на их глазах «в муках рождается новая эпоха в истории, что на новых началах перестраивается не только жизнь отдельных народов, но и взаимоотношение их, весь строй мысли, мышления людей». Каков бы ни был исход революции в России, ее мировое значение было для Краузе очевидным: «Это начало крушения всего умственного строя современной нам (или прошедшей уже?) культуры, вернее, цивилизации, доведенной до абсурда этой бессмысленной войной, этим гигантским преступлением, грехом против Святого Духа!»

На фронте Краузе недоставало живого общения и обмена мыслями с женой, с москвичами. Он не вполне доверял газетам, чувствовал фальшь официальных сообщений, например, в жгучем вопросе о войне и мире. Фридрих Оскарович засыпал жену вопросами о текущих политических событиях и настроении общества.

Муж искал в ней «свободную гражданку», а находил «просто женщину» – жену и мать. «Не знаю как ты, но я не могу сейчас не чувствовать себя прежде всего гражданином, близко принимающим к сердцу судьбы своей родины», – укоризненно писал Краузе жене.

Александра Ивановна со слезами читала его письма. Она видела в них «только речи гражданина», представлявшие собой «ценный материал для архива», но не для нее. Ей казалось, что политика заслонила мужу семью. После тяжелых родов она долго не могла прийти в себя,

все ее мысли вращались вокруг маленькой дочери: где найти няню и прачку, достать продукты и дрова, снять квартиру, заработать деньги и когда же, наконец, вернется домой муж? «Сколько обязанностей на мне лежит: мать, жена, врач, хозяйка, гражданка… С честью я, кажется, несу только одну, ради нее я отказываюсь от всего», – отвечала она мужу. Кормящей матери, целиком поглощенной заботами о дочери, недосуг было рассуждать о политике, она почти ни с кем не общалась и едва успевала просматривать газеты.

Супруги словно говорили на разных языках, начались взаимные упреки, обиды и обвинения в непонимании. Еще недавно счастливый брак стал давать трещину. Уступая настояниям мужа, Александра Ивановна вскользь упоминала о политике. Для нее настоящая свобода и демократия не имели ценности, когда люди находились «под наркозом войны». В политическом отношении она симпатизировала социал-демократам за их приверженность миру и защите интересов рабочего класса, хотя ее высказывания о политике часто зависели от настроения.

Муж подтрунивал над ее симпатиями меньшевикам, называл «ортодоксальной марксисткой» и шутливо заявлял: «Мы с тобой политические противники, Шурочка!..» Его политические взгляды можно охарактеризовать как умеренно-либеральные с народническим оттенком, но за время войны он заметно «полевел». Фридриха Оскаровича раздражали доктринерские речи и «империалистические стремления» кадетов, он присматривался к левым партиям и порой даже находил, что они, «по-видимому, достаточно благоразумны и сдерживают массы».

Оба «политических противника» возлагали надежды на А. Ф. Керенского, считали его истинным героем революции, который «не живет, а горит». Фридрих Оскарович восхищался его удивительной энергией, горячим сердцем и трезвым умом, называл «нашим пламенно-холодным Дантоном», По убеждению Краузе, именно «ему удалось соединить несоединимое: буржуазное правительство с пролетариатом» и тем самым спасти Россию от анархии в первые дни революции. Быть может, полагал Фридрих Оскарович, «ему удастся спасти ее еще раз».

Самым животрепещущим вопросом для разъединенной молодой семьи был вопрос о мире. Краузе казалось, что революция и подъем демократического движения создали основу для мирных переговоров. Не умаляя значения экономических трудностей, он вновь подчеркивал роль «психологических моментов» и выводил на первое место изменения, произошедшие в психике людей. «Тяжелое экономическое положение не помешало Германии с полным напряжением воевать до сегодняшнего дня. Сильная воля всё превозмогает. У нас же теперь нет психологических оснований для напряжения всей своей воли. Не будет этих оснований вскоре и у Германии, если ей не придется больше бояться за свое существование как великой державы», – рассуждал Краузе.

Сколько бы ни призывали политики к продолжению войны до победы, – приходил он к заключению, – «решают, в конце концов, вопрос все-таки массы, совокупная воля всего народа». Война стала катализатором революции, а революция обрекала Россию на поражение в этой войне. Наивно было предполагать, что, ощутив свою силу и свободу, уставшие от затянувшейся войны «массы» будут продолжать сражаться и умирать неизвестно за что. Требование мира возобладало над призывами к войне до победного конца. Революция дала народу надежду на возвращение к мирной жизни и ее переустройство на справедливых началах, а Временное правительство, связанное союзническими обязательствами, эту надежду не оправдывало.

С первых дней революции Фридрих Оскарович поставил относительно войны «совсем скверный прогноз». Ее продолжение, в то время как армия теряла боеспособность, «массы» выходили из-под контроля, обострялись национальные противоречия, особенно на Украине и в Прибалтийском крае, было чревато новым социальным взрывом. Краузе был убежден, что, не будь войны и угрозы разгрома извне, «правительство и рабочий класс столковались бы». Он

отчетливо сознавал, что «нам сейчас до зарезу необходим мир», но мысль о сепаратном мире тогда еще не приходила ему в голову.

Без союзников Россия в том состоянии, в каком она находилась весной 1917 года, вышла бы из войны с утратой территорий, что создавало угрозу для новой власти и при любом раскладе ослабило бы страну. Между тем вскоре после отречения Николая II в предвкушении близкой победы в войну на стороне Антанты вступили США. Союзникам нужна была победоносная война, России нужен был немедленный мир. Ситуация зашла в тупик, и благоприятного для России выхода из этого тупика не предвиделось. Временное правительство сделало ставку на продолжение войны.

Летом 1917 года возобновились активные военные действия на фронте. Как и предрекал Фридрих Оскарович, июньское наступление русской армии закончилось провалом. Временное правительство пыталось списать военное поражение на большевиков, развернувших агитацию против войны. «Теперь во всем виноваты большевики, а разве они имели бы успех, если бы почва была не так удобна?» – резонно замечала Александра Ивановна вскоре после июльского кризиса и кровопролитных событий в Петрограде. Обвинения большевиков и лично В.И. Ленина в государственной измене оба супруга отвергали.

Хотя неудачи преследовали русскую армию, у Краузе еще теплилась надежда на заключение мира вместе с союзниками. «Нам необходимо с грехом пополам дойти до худого мира, но это возможно только совместно со всеми воюющими. Надо как-нибудь дотянуть и стараться дотянуть получше», – писал он. Армия разваливалась, в тылу бесчинствовали «взбунтовавшиеся рабы», в экономике царила разруха, а власть демонстрировала свое бессилие. Никаких шансов «дотянуть получше» уже не осталось, впереди страну ожидал только «похабный мир».

Еще в мае – июне 1917 года в ответ на жалобы жены на растущую дороговизну и нехватку продуктов в Москве Фридрих Оскарович сообщал, что в полках тоже голодают: были сокращены рационы, люди питались затхлым хлебом, иногда протухшей солониной и полусгнившей рыбой. Ужасающими темпами распространялась цинга. А ведь всего полтора года тому назад, празднуя Рождество с товарищами «на позициях», Краузе лакомился фазанами и мороженым из шампанского. В июле – августе в Румынии солдат спасал подножный корм, главным образом овощи. Цинга в войсках пошла на убыль и, наконец, прекратилась, но появилась желтуха.

Моральный дух солдат падал. Однако в сокрушительном поражении на фронте Фридрих Оскарович винил не армию, а тыл с его забвением общих государственных нужд, торжеством мелкого личного эгоизма, погоней за наживой и развлечениями. Такого же мнения была и Александра Ивановна, но в отличие от мужа, осуждавшего «психологию тыла» и поведение уклонявшихся от военной службы коллег, она резко отзывалась об учинившем «вакханалию» народе и отсутствии у него даже проблеска сознательности.

Фридрих Оскарович стоял на своем: по большому счету проблема заключалась в недостатке культуры, и в этом не было вины народа – «некультурный народ в два-три месяца не может сделаться культурным». Поэтому «эксцессы, анархия и всякие нелепости неизбежны». Для их прекращения нужна упорная просветительская и организационная работа «культурных слоев населения». Он не осуждал солдат и писал: «Их грехи – это наши общероссийские грехи: темнота, привычка делать всё из-под палки. Они в этом отношении далеко не худшие. И были бы они еще лучше, если бы ваш ужасный тыл не развращал их так систематически».

Поразительно, что, пройдя через мясорубку войны и многое пережив, Фридрих Оскарович стал истинным патриотом России. Его вера в величие России, в гениальность и здравый смысл русского народа удивляла его русскую жену. Всячески стараясь ее подбодрить, Краузе писал: «Верю же я в то, что народ столь высокоодаренный, создавший великую национальную литературу, искусство и музыку, не может погибнуть зря, должен, в конце концов, найти в себе силу созидательную, творческую, организующую, должен найти в себе и талант государственного строительства. Ведь у нас нет навыков, кроме подпольных, узкофракционных. Мудрено

ли, что нам приходится сто раз ошибаться, прежде чем найти правильный путь, до всего доходить горьким опытом?..»

Он стремился вселить в жену уверенность, что настанут лучшие времена, надо только «перетерпеть, перестрадать», «Разве можно было бы жить и работать в теперешней России, не веря в ее будущее?» – задавался вопросом Краузе. Но даже его порой одолевали сомнения. В сентябре он написал жене: «А Россия уже не на краю гибели, а в самой пропасти, израненная, обессиленная, окончательно измученная. Выберется ли она когда-нибудь из этой пропасти, залечит ли свои раны?» Александра Ивановна уже ни во что не верила, проклинала войну и твердила: «Мир, какой угодно ценою, только бы мир».

Война была проиграна. Краузе чувствовал себя опустошенным, «никому не нужным паразитом», терзался от собственной беспомощности, тоже проклинал «мировую бойню», которая душит и губит их, и с горькой иронией отзывался об этом «героическом» времени, каким оно может представиться потомкам. В сентябре в его письмах впервые появилось упоминание о грядущей гражданской войне: «Кажется, мы достигли апогея личного и общественного несчастия. Дальше ехать некуда. Что может нас ожидать еще худшее? Позорный мир?

Но для нас сейчас и позорный мир явится ни с чем не сравнимым благом, надо же в этом сознаться. Гражданская война? Она покончит с неопределенностью, и восторжествует какая-нибудь одна сторона. Это хоть шаг к выздоровлению».

Задумываясь о будущем, он писал: «Какие мы будем после войны? Что от нас, от прежних, останется? Разрушенная вконец нервная система… Озлобленность по отношению ко всем более счастливым, спокойным, равнодушным… Затаенное чувство обиды и горечи на всю жизнь… Неужели такие настроения будут доминировать? Страшно даже подумать. Хочется отогнать эти чувства. Но ведь они ползут, надвигаются… Вот где источник большевизма… Горе нам!»

При мысли о будущем Александра Ивановна испытывала страх и ужас. Она умоляла мужа приехать, иначе у нее «не хватит сил бороться за эту проклятую жизнь». В октябре 1917 года Фридрих Оскарович вернулся в голодающую и замерзающую Москву. Его предчувствие гражданской войны оправдалось. В следующем году его вновь мобилизовали, на этот раз в Красную армию, где он самоотверженно работал в госпиталях, боролся с «испанкой» – особо тяжелой формой гриппа, эпидемиями сыпного и возвратного тифа.

Вместе с Александрой Ивановной он налаживал работу первой в Уфе детской больницы. После демобилизации в 1921 году Краузе целиком посвятил себя любимому делу – педиатрии, занимался организацией Лосиноостровского санаторного отделения Дома охраны младенца, который в следующем году стал называться Государственным научным институтом охраны материнства и младенчества.

Счастливого конца у этой семейной истории не получилось. Еще в июле 1917 года Краузе заметил жене: «Какие мы по существу разные с тобою люди! А, между прочим, оба хорошие…» Супруги постепенно отдалялись друг от друга, и в 1929 году брак завершился официальным разводом. Их дальнейшая судьба сложилась по-разному. К этому времени Фридрих Оскарович уже соединил свою жизнь с Верой Федоровной Берсеневой, человеком высокой культуры и душевных качеств. Они зажили втроем вместе с ее шестилетним сыном от предыдущего брака Руфом. В том же 1929 году у них родилась дочь Елена.

В 1931 году семья перебралась в Магнитогорск, где ударными темпами возводился грандиозный металлургический комбинат. С присущей ему кипучей энергией Фридрих Оскарович взялся за организацию детского здравоохранения в новом уральском городе. Вера Федоровна заведовала библиографическим отделом научно-технической библиотеки Магнитогорского металлургического комбината и много внимания уделяла переводам иностранной литературы на русский язык. В 1932 году у них родился сын, названный в честь деда Оскаром. Семейный быт понемногу налаживался.

Мирное течение жизни прервала война. В марте 1942 года Фридриха Оскаровича арестовали якобы «за антисоветскую пропаганду» и приговорили к расстрелу, затем замененному десятью годами лагерей. В декабре по тому же надуманному обвинению арестовали его жену и приговорили к такому же сроку наказания. Детей приютила их тетя по материнской линии – вдова, у которой было двое своих малолетних ребятишек.

В 1960-х годах оба супруга были полностью реабилитированы. Вера Федоровна не дожила до этого времени, она умерла в лагере в 1950 году, что стало для

Фридриха Оскаровича большим ударом. Сам Фридрих Оскарович освободился из заключения в 1952 году и поселился в селе Тарноге в отдаленном лесном краю Вологодской области, где работал районным педиатром. После выхода на пенсию в 1956 году Краузе перебрался в старинный город Волхов на Орловщине. Там он растил сад, разбирал семейный архив и писал воспоминания до самой своей смерти в 1973 году.

Александра Ивановна, с молодости тяготевшая к научным исследованиям и находившая для них время даже в самые трудные годы своей жизни, пошла по этой стезе. Эта незаурядная, стойкая и скромная женщина посвятила себя науке, стала видным ученым, членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, профессором, заслуженным деятелем науки РСФСР. В 1945–1952 годах она занимала высокую должность главного педиатра Министерства здравоохранения СССР. Когда Фридрих Оскарович и Вера Федоровна были репрессированы, она помогала их детям, спасая ребят от голода и всегда бережно хранила письма бывшего мужа. Ныне здравствующие дети Фридриха Краузе, Елена и Оскар, сохранили благодарную память о «тете Саше».

Рядом с Александрой Ивановной до последних дней оставалась ее дочь Ирина, выпускница Института иностранных языков и 2-го Московского медицинского института, начало которому положил медицинский факультет Московских высшихженских курсов. Будучи очень разносторонним человеком с независимым характером, она испробовала свои силы на разных поприщах, но в итоге взяла на себя заботу о матери и предпочла остаться, как теперь сказали бы, фрилансером, «свободным художником».

После смерти матери в 1958 году Ирина озаботилась перепечаткой выдержек из писем отца 1914 года. Она ушла из жизни в 1993 году, и тогда письма попали к младшим детям Фридриха Оскаровича. Его сын, продолжатель семейной традиции, педиатр, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин города Череповца Оскар Фридрихович Краузе заинтересовался отцовскими письмами и проделал большую работу для подготовки книги, первоначально предназначавшейся для семейного чтения.

Несомненно, письма Фридриха Оскаровича Краузе являются редким и по-своему уникальным историческим источником, представляющим интерес не только для его потомков, но также для историков и широкой читательской аудитории. Перед нами ценный «человеческий документ», принадлежащий перу наблюдательного и вдумчивого очевидца и непосредственного участника событий переломной эпохи в жизни нашей страны. Письма Фридриха Оскаровича дополнены выдержками из ответных писем Александры Ивановны, которые рисуют яркую картину московской жизни военной поры.

Фридрих Оскарович не просто фиксировал текущие события в своих «письмах-дневниках», как он сам их называл. Он стремился беспристрастно осмыслить происходящее и временами приходил в отчаяние: «Нет, положительно нельзя окончательно выяснить истину в этой кошмарной войне. Только история, быть может, выяснит ее». Тем не менее он не сдавался и писал, что всю жизнь будет изучать эту войну по документам и материалам, ведь это и его личное дело. Настанет время, предполагал он, когда они с Шурочкой перечитают все свои письма и с высоты «птичьего полета» посмотрят на прошедшее – на то, что им довелось пережить, что их волновало и мучило.

На память о войне он собирал немудреные «артефакты»: осколки снарядов, обойму патронов, львовскую крону, кое-что из оружия и амуниции, и мечтал завести «шкаф редкостей» для своих военных трофеев. Он настойчиво просил Александру Ивановну сохранять номера газет с важными сообщениями «и всё, что имеет хоть некоторый исторический интерес» и может пригодиться для будущих исследований и справок.

У Фридриха Оскаровича был пытливый ум и жилка гуманитария. Он был завзятым книгочеем, всерьез интересовался историей, выписывал исторические журналы и понимал, что живет в особую историческую эпоху. Среди множества книг, которые он читал, было немало книг по истории. В одном из своих последних писем с войны он заметил: «Если бы не книги, было бы совсем плохо…» Сам того не ведая, он написал свою книгу, это правдивое и бесхитростное повествование о себе, своей любви и своем времени.

Почерку Фридриха Оскаровича был четкий, разборчивый, чего не скажешь о почерке Александры Ивановны. Писал он чернилами на обычной почтовой бумаге небольшого формата, только несколько писем написаны карандашом. Когда запас почтовой бумаги подходил к концу, он дописывал письмо на половинке или четвертушке листа, иногда делал аккуратные приписки убористым почерком на полях либо между строк письма. У него было легкое перо, в черновиках он не нуждался и лишь изредка вносил мелкие исправления, перечитывая свои письма перед отправкой.

Письма шли несколько дней, порой запаздывали. В случае срочной необходимости молодые люди обменивались телеграммами (поздравительными, о приезде, перемещении, состоянии здоровья и пр.). Бывало, что телеграммы личного характера не принимались, и сообщение с полевой почтой прерывалось. Тогда Фридрих Оскарович продолжал писать в том же письме под следующей датой и отправлял написанное одним письмом, как только связь возобновлялась. Число таких писем с продолжением доходило до 4–5 в одном. В книгу вошли 497 сохранившихся писем. На некоторых из них военная цензура оставила свой след, вымарывая даже буквенные обозначения мест их отправления.

Еще в октябре 1914 года Фридрих Оскарович и Александра Ивановна договорились нумеровать свои письма. Однако нумерация то и дело сбивалась, прерывалась и возобновлялась заново. Письма, отправленные с оказией, Фридрих Оскарович не нумеровал. Авторская нумерация писем сохранена в публикации и дает представление о понесенных значительных утратах в переписке. Сами письма за редким исключением хорошей сохранности, конверты до наших дней не дошли.

Письма публикуются с некоторыми сокращениями сведений о родных и общих знакомых, рассуждений о погоде и состоянии здоровья, маловажных подробностей и повторов, которые отмечены отточиями в угловых скобках. Пропущенные в письмах слова и окончания добавлены в квадратных скобках. Для удобства чтения длинные сложные предложения разделены на части, введены дополнительные абзацы. Археографические примечания помечены звездочкой и помещены непосредственно под письмами. Даты в письмах и примечаниях указаны по старому стилю. В именной указатель включены часто повторяющиеся в сокращенном виде имена и отчества.

Работа по подготовке писем к печати и написанию примечаний выполнена О. Ф. Краузе и Л. А. Булгаковой. Фотографии взяты из семейного архива Краузе и по большей части сделаны самим Фридрихом Оскаровичем, который написал к ним соответствующие пояснения. Названия населенных мест, не раскрытые в письмах, расшифрованы О. Ф. Краузе. Выписки из писем Александры Ивановны сделаны Е. Ф. Краузе, младшей дочерью Фридриха Оскаровича, у которой хранятся эти письма. Публикация писем А. И. Доброхотовой в настоящее время не представляется возможной в связи с тем, что доступ к ним закрыт по решению Е. Ф. Краузе.

Выражаю искреннюю благодарность членам редколлегии, историкам высокой квалификации: Б. И. Колоницкому, Н. Н. Смирнову и А. Н. Чистикову, взыскательным рецензентам: Н.

С. Андреевой и С. В. Куликову, а также коллегам, высказавшим ценные предложения и замечания в ходе подготовки этой книги к печати: Л. Ю. Гусману, П. Г. Рогозному, Н. В. Родину и научным сотрудникам Санкт-Петербургского института истории РАН И. В. Лукоянову, В. И. Мусаеву и М. М. Сафонову, ознакомившимся с рукописью книги и принявшим участие в ее обсуждении. Память семьи становится нашим общим достоянием.

Людмила Булгакова

Письма Ф. О. Краузе

1914

Летом 1914 года Фридрих Краузе и Александра Доброхотова провели на Аландских и близлежащих островах две недели своего первого совместного отпуска. Счастливые, беззаботные дни на острове Нагу на всю жизнь запечатлелись в их памяти как «волшебная сказка». 14 июля они прибыли из Гельсингфорса в Петербург, где их пути разошлись. Фридрих поехал в Ригу навестить своих родных, а Александра – на свою родину, в село Вичугу Костромской губернии. Там их застигла война. 18 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация, и Фридрих был призван из запаса на военную службу. Молодые люди вновь встретились в Москве, чтобы расстаться. Война разлучила их. С глубокой печалью Шура проводила Фридриха в Воронеж, где формировался 253-й запасный госпиталь, в котором ему предстояло занять место ординатора. Началась интенсивная, практически ежедневная переписка влюбленных.

Воронеж, 25-го июля 1914 г.

Милая Шурочка!

Вот прошел первый день без тебя, и я начинаю свои письма-дневники. Когда поезд тронулся, и я остался один, было очень грустно, и я долго сидел в коридоре на скамье и не начинал ни с кем разговора, и только к 12-ти часам ночи был втянут в политический разговор, однако малоинтересный. В 2 часа ночи мы были в Рязани, где освободилось купе, тотчас же занятое мною и тремя прапорщиками запаса. Я лег на верхнюю полку, потушил электричество и прекрасно спал до половины 9-го утра, а провалялся наверху до 12-ти, – было очень удобно. В 4 часа подъехали к Воронежу. Всё поля да поля, в большинстве убранные, местами красивый лиственный лес, который опять на меня вначале производит впечатление.

На станции Грязи вижу на платформе гуляющего Никифора Николаевича[1] в смешной военной форме. Он зашел ко мне. Оказалось, что он тоже не видел меня раньше и не знал, что мы в одном с ним поезде. Значит, наше прощанье им не подмечено и не послужит предметом для шуток!

Хотели мы с ним в Воронеже действовать сообща, но в ужасной давке на станции я его не мог разыскать. Пообедал без него и решил затем для начала обратиться к коменданту станции. Должно быть, со стороны смешно было видеть, как я держался перед военным начальством. Как бы то ни было, он мне указал, что мне следует обратиться к воинскому начальнику за дальнейшими указаниями, его-де хата с краю.

Отдал вещи на хранение и поехал на извозчике к воинскому начальнику. Трясся по отчаянной мостовой на отчаянной пролетке. Погода хорошая. Правая рука работает беспрестанно – отдаю честь и отвечаю на приветствия. Понемногу привыкаю, только с генералами не знаю, как держаться. Приехал к воинскому. Много солдат, все козыряют, я милостиво отвечаю. Насилу разобрал, кто из числа военных, находящихся в кабинете, начальник, и кто писарь. Оказался добродушный старичок полковник, покровительственно объяснивший мне, что следует через весь город по Дворянской улице, через мост в Троицкой слободе отыскать дом Гаусмана и там узнать дальнейшее.

[1] Н. Н. Блажко вместе с Фридрихом Оскаровичем (далее Фр. Оск.) работал врачом – ассистентом в Детской больнице им. В. Е. Морозова, которую обычно называли «Морозовской».

Опять трясусь на извозчике, козыряю направо и налево, понимаю весьма мало, что со мной дальше будет. Подъезжаю, наконец, к дому Гаусмана, Всюду солдатики, под козырек докладывают, что тут-де будет госпиталь, но что его нет, а старший врач находится в белом доме еще немного дальше. Еду дальше. В белом доме оказываются в большом количестве такие же умники, как и я, что меня искренне утешает. Встречаю однокурсника, прибывшего два дня назад, другого госпиталя. Он начинает мне всё объяснять, диктует мне рапорт, который я тут же передаю в контору. Говорит, что, может быть, старшего врача [госпиталя] № 253 еще и нет, а если так, то мне самому придется оборудовать госпиталь и заботиться о людях, лошадях, сестрах и т. д., и т. д. Одним словом, напугал как следует.

Показал мне список домов, в которых следует расквартировать весь состав госпиталя. Говорит о каком-то сене, которое, быть может, мне придется достать сегодня же, о 4-х томах каких-то уставов, в которых всё объяснено, и в которых мало что можно понять; о 16.000 рублях, которые мне выдадут, если никто еще не приехал, а я первый! Когда я ему говорю, что ведь я не имею ни малейшего представления обо всем этом, то отвечает, что сам три дня назад ничего не понимал, а сейчас производит всю эту работу. Зато он будет назначен старшим ординатором, а это означает двойной против младшего ординатора оклад.

Случайно мы узнали адрес некоего доктора Левитского[2], также числящегося за 253-м госпиталем. Советует поехать к нему, может быть, это мой старший врач, и он уже начал оборудование госпиталя. Опять на извозчике трясусь по всему городу, козыряю направо и налево. Левитского не застаю дома, оставляю записку, что завтра зайду. Решил пока устроиться в гостинице «Франция» – все номера заняты, «Коммерческая» – все заняты, «Гранд-отель» – имеется один номер для двоих – 2 р. 75 к. Я его беру, посылаю за вещами, жду.

Неприглядный номер. Перегородка одна – передняя вроде чулана, перегородка вторая – спальня, тоже вроде чулана. Салон с зеленоватыми темными обоями с обилием золота. Одним словом, обычная неуютная номерная обстановка с кислым запахом, столь непохожая на то, что мы видели в Финляндии!

Получаю вещи, открываю. Оказывается, что один флакон с одеколоном лопнул и залил все носовые платки. Немного попало и на карандаши и почтовую бумагу с конвертами. Может быть, ты даже услышишь запах. В общем, удачно – ничего не попорчено.

Заказал самовар, тусклый, снаружи грязный (Гранд-отель!). Пью чай с твоими бутербродами и с шоколадом. Товарищ звал на вечер в общественное собрание, но мне что-то совсем неохота, устал и хочется поболтать со своей Шурочкой. Верно, Шурочка, я пишу чересчур уж подробно? Но ведь тебе от этого не кажется скучней?

Шурочка, милая Шурочка, вот видишь, я целый час интенсивно был с тобой, и ты это чувствуешь, и если будешь читать мое письмо, то у тебя будет тоже полное со мной общение. Вот видишь, мы вовсе не так уж разъединены с тобой! Пиши мне, Шурочка, в Воронеж просто – запасный полевой № 253 госпиталь, не приданный войскам, ординатору такому-то.

Сейчас, в 10 часов, лягу спать, устал сильно. В дороге сегодня написал открытку матери[3]. С тех пор, как попал в Воронеж, на место своего назначения, сразу стал спокоен, не чувствую уже этого вибрирования всех нервов, как было все эти дни.

Прощай, моя милая Шурочка. Крепко обнимаю тебя и целую.

Твой Ежик.

---

[2] Рафаил Михайлович Левитский прежде служил участковым врачом на станции Обловка Рязанско-Уральской ж. д. в Тамбовской губернии.

[3] После выхода на пенсию в 1913 г. отец автора писем Адольф Оскар Краузе вместе с женой Луизой Элизабет и детьми вернулся в Курляндскую губернию и поселился в Риге. Из семи детей в Москве остался один Фр. Оск., четвертый ребенок в семье. Его старшие братья были дипломированными инженерами: Вильгельм (Вилли) – химиком, Артур – строителем, третий брат Гуго (Hugo) не имел определенной профессии, сестры Эдит и Элен (Лени) были учительницами, самый младший, Карлуша, учился в гимназии.

Воронеж, 26-го июля 1914 г.

Милая Шурочка!

Второй день пребывания моего в Воронеже прошел значительно спокойней. Прежде всего, я весьма недурно выспался с 11-ти часов вечера до 9-ти утра. Кровать хорошая, железная, матрас мягкий, ни блох, ни клопов. Затем, побрившись и вследствие этого почувствовав себя опять человеком, пошел к товарищу по госпиталю Левитскому, но опять его дома не застал. Поговорил с его женой, сообщившей мне, что муж ее тоже ординатор, и что старший врач еще не приехал.

Пошел на сборный пункт, где застал несколько своих однокурсников, а также Алексея Афанасьевича[4] и Никифора Николаевича. Сей последний, оказавшийся приехавшим первым из всего состава своего госпиталя, немедленно получил чек в казначейство на получение 16.000 рублей и должен был, замещая старшего врача, устроить госпиталь. Обычная для него невозмутимость духа и веселое настроение.

Алексей Афанасьевич тоже невозмутим как всегда. Впрочем, ему беспокоиться нечего: у него имеется и приехавший вместе с ним старший врач и коллега, мой однокурсник, о котором я тебе вчера писал, который почти уже закончил оборудование госпиталя. Ал. Аф. как младший ординатор пока совершенно не нужен. В том же положении пока нахожусь и я. Мне сообщили на сборном пункте, что 16.000 рублей выданы уже Левитскому. Так как я у него был уже два раза и не застал, а мой адрес ему оставлен, то я думаю с невозмутимым спокойствием ждать дальнейших событий.

Днем Алексей Афан. переехал ко мне. Оказалось, что в том же самом номере он провел первые сутки вместе с Финкелынтейном[5], с ним вместе сюда приехавшим. Тот теперь устроился на казенной отведенной ему квартире. Мы пока решили выждать здесь. Попадется более или менее сносная квартира, то переселимся.

Пообедали в номере недурно, но дорого – 60 коп. с персоны. Отдохнули, пошли на вокзал за газетами. Там видели проезжавшего из Ростова в Москву Антошина Ник. Ник.[6], также призванного. С вокзала вернулись и начали читать газеты, что отняло несколько часов времени. На вокзале я, кстати, купил несколько томиков «Универсальной библиотеки»[7], и это пока весь наш духовный багаж. Только теперь я вспомнил, что хотел ведь заняться изучением французского языка и забыл купить в Москве самоучитель Toussaint- Langenscheidt[8] – обидно. Может быть, здесь достану, только едва ли.

Как, Шурочка, твои успехи в области изучения немецкого? Ты переводишь? Я теперь уже с нетерпением буду ждать твоих писем. Как твое настроение? Какие у тебя мысли? По поводу войны у меня в голове за последние дни никаких новых мыслей нет. Противная все-таки газета «Русское слово»[9], гадость. Какой подлый стиль: «тевтонский отвратительный спрут»! Отдыхаешь на «Русских ведомостях»[10].

Прощай, дорогая Шурочка, до завтра! Как хорошо, что можно так ежедневно целый час посвятить только беседе с тобой!

Твой Ежик.

---

[4] А. А. Морозов, из врачей-ассистентов Морозовской больницы.

[5] Лазарь (Лейба) Абрамович Финкелынтейн, педиатр.

[6] Николай Николаевич Антошин, врач, однокурсник Фр. Оск.

[7] Общедоступная серия книг издательства «Польза».

[8] Популярный самоучитель французского языка по методу Ш. Туссена (Туссэна) и Г. Лангеншейдта.

[9] «Русское слово» – информационная внепартийная газета, издававшаяся в Москве массовым тиражом.

[10] Из всех газет автор писем отдавал явное предпочтение «Русским ведомостям», московской «профессорской» газете умеренно-либерального направления.

Воронеж, 27-го июля 1914 г.

Ты, милая Шурочка, в Воронеже не была, но общий характер этих небольших губернских городов тебе, должно быть, хорошо известен. Для меня же, как ты знаешь, всё это ново. Город построен по типу больших сел. Посредине проходит Большая Дворянская улица, самая шикарная в городе. На ней одно или два трехэтажных здания, занятых гостиницей «Бристоль». Затем ряд двухэтажных каменных и много одно- и двухэтажных деревянных строений. В одном конце деревянная каланча Дворянской части, в другом такая же Московской части. Архитектура непритязательная, скверные булыжные мостовые, скверные извозчики и скверная допотопная грязная конка.

Поперек тянется Большая Московская улица, уже значительно менее презентабельная, а затем ряд совсем уж непрезентабельных улиц и переулков, на которых стоят лужи грязи и встречаются и куры, и поросятки. Впрочем, пасущихся свиней видел и на Дворянской улице. Если сравнить с Таммерфорсом[11], то, конечно, критики никакой не выдерживает. Вообще, здесь лучше не сравнивать – всё самобытно и красочно.

Дорогая Шурочка, прости, что я пишу тебе такие вещи, которые тебя, должно быть, совсем не интересуют, но правда, мне всё это занимательно. А ты, я думаю, ведь и хочешь знать, что меня сейчас занимает, что я думаю.

Сегодня утром на сборном пункте я встретил, наконец, коллегу Левитского. Он мне передал целую кипу официальных бумаг и инструкций, отношений и требований. И вот я несколько часов сидел над ними и старался кое-что в них понять. В конце концов я осилил этот ворох бумаг и понял, что нам без бумаг здесь не ступить ни шагу.

Затем пришел ко мне Левитский, и мы с ним вместе вырабатывали план и образ действий на завтрашний день. Лошадь мы уже имеем. Оказывается, что нам как запасному госпиталю, перевозимому по железной дороге, больше одной рабочей лошади не полагается. Часть команды также имеется, помещения есть. С завтрашнего дня мы заставим нашего смотрителя закупить необходимую утварь и посуду, подводу, упряжь, муку, крупу и т. д. Часть этих вещей должны получить в интендантстве. Соберем ли мы завтра хоть малую часть того, что нам следует, это, конечно, другой вопрос. В общем, бестолочи и неразберихи хоть отбавляй, хотя в дневнике мобилизационном и наперед указано, в какой час каждого дня что следует приготовить и совершить. Больше всего работы смотрителю и почти никакой – младшим ординаторам. Пока нет главного врача, мы с Левитским работу будем делить пополам.

Алексею Афанасьевичу делать здесь абсолютно нечего. Пьет, ест, спит, газету читает и по вечерам письма пишет. Сегодня к вечеру к нам хотели придти Левитский и еще какой-то коллега, и вздумали мы сыграть небольшую пулечку (т. е. в преферанс. – *Сост.).* Не огорчайся, милая Шурочка, что таким делом буду заниматься. Ты знаешь, как либерально я смотрю на этот вопрос. Впрочем, даже идея принадлежит не мне, а Левитскому. Играть будем по маленькой, в авантюры пускаться я не стану.

Проводить вечер где-нибудь на свежем воздухе нет сил. Постоянное козырянье направо и налево утомляет и отравляет всякое удовольствие. Стремишься ограничить пребывание на улице, сколько возможно. <…> Настроение мое сейчас спокойное, но немножко боюсь, как бы нам здесь не остаться без дела на долгое время. Хотелось бы скорее ближе к границе, к свежим впечатлениям.

Дорогая моя Шурочка, когда я получу первую весточку от тебя? Знаешь, Шурочка, сегодня я начал читать последний роман Кнута Гамсуна[12] и снова всецело нахожусь под впечатлением и обаянием его стиля. Пишет он все-таки удивительно. Как он любит и чувствует природу, как он просто живет и просто воспринимает всё, что его окружает; как он сводит

---

[11] Ныне Тампере, второй по значимости город в Финляндии.

[12] *Гамсун К.* Последняя отрада / Пер. с норвеж. М. Благовещенской и А. Каарана. М., 1914.

все людские движения мысли и чувства к простым основным линиям вековечной природы. Удивительный писатель!

Прощай, дорогая Шурочка, пиши скорей и подробней,

Твой Е.

Воронеж, 28-го июля 1914 г.

Теряюсь в догадках, милая Шурочка, почему ты мне не пишешь?! Сегодня объездил все инстанции, но нигде не нашел ни единого письма на свое имя. В сборном пункте одни официальные письма, в почтамте «до востребования» ничего нет. В разборочной почтового отделения мне сказали, что все письма, адресованные на госпитали, посылаются воинскому начальнику. Заехал туда. Там мне дали кипу писем, но в ней оказались только официальные, по мобилизации, мне же – ничего! Я огорчен, Шурочка. Как бы письма-то не затерялись?! Может быть, пока лучше адресовать на Мал[ую] Дворянскую улицу, Гранд-отель, 33? Попробуй!

Знаешь, Шурочка, какой вчера сюрприз? Едва отослал письмо, как раздается громкий стук в дверь, и сейчас же входит в комнату Кутька[13], только что из Москвы приехавший, в полной форме военного врача. Оказывается, их высочайшим указом произвели в зауряд-врачи[14], и он откомандирован младшим ординатором сюда в Воронеж, в сводный госпиталь. Этот сводный госпиталь останется на всё время в Воронеже и получит, по всей вероятности, либо хроников, либо, вернее, заразных больных. Кутя этим весьма недоволен и думает на днях подать рапорт о переводе в какой-нибудь полевой госпиталь. Настроение его прекрасное. Экзамены его все-таки удручали. Сейчас он веселый и шумливый, как всегда. Устраивается он с коллегами на казенной квартире, по дешевому тарифу.

Я думаю, если нас через две недели не переведут на какие-нибудь позиции, то и нам с Ал. Аф. придется подумакивать о более дешевом устройстве. П,ены здесь в Гранд-отеле, несмотря на всю его мизерность, весьма высокие, и надолго пороха не хватит.

Наш главный врач продолжает блистать своим отсутствием также, как и наш товарищ, зауряд-врач. Вся работа на Левитском. Так как ему приходится всюду расписываться, то ему же и приходится браться за всё. Я ему довольно-таки не нужен. Принимали мы сегодня вместе казенное оружие и отправили смотрителя за покупкой кухонной посуды для устройства столовой и канцелярии. Моя роль во всем этом – больше роль зрителя. Мне совестно, но, правда, дела мне не находится. О нашей вчерашней пулечке я тебе рассказывать не стану, так как тебе это неинтересно. Скажу только, что люди хорошие, а результат был обычный, что тебя, конечно, не удивляет. <…> Сегодня опять читал Кнута Гамсуна с одинаковым восхищением.

Знаешь, Шурочка, мне вот, когда я тебе пишу, хочется сказать много нежных слов, а между тем, что-то удерживает. Боишься, как бы не получилось впечатление неискренности, фальши, боишься и не пишешь ничего. Почему это? Я сам страдаю от сухого стиля моих писем, а не могу писать иначе. Шурочка, объясни, почему?! Почему это у других людей получается просто, а у меня нет? Неужели, Шурочка, я и правда такой уж черствый человек? Шурочка, напиши, что нет!

Ты знаешь, что я и раньше неоднократно задавал этот вопрос, но как-то когда пишешь, более ясно выступают характерные особенности, а стиль неумолим, недаром сказано «1e style c'est Thomme»![15] Значит, я таков и есть?? Шурочка, пиши мне на это, отвечай!

Милая, милая моя, хорошая, единственная моя Шурочка, одна ты у меня. Не хочется мне после этого писать что-нибудь второстепенное! Прощай, моя хорошая, обнимаю тебя мыс-

[13] Кутя, Кутька – вероятно, прозвище Алексея Алексеевича Кутьина, близкого друга и коллеги Фр. Оск.

[14] Зауряд-врачи – студенты-медики старших курсов, мобилизованные на военно-медицинскую службу ввиду недостатка медицинского персонала, обычно назначались на должности младших врачей и младших ординаторов.

[15] Le style c'est l'homme (*франц.*) – Стиль – это человек.

ленно крепко, крепко и целую много, много раз! И пускай это не звучит пошло или избито, пускай тебе кажется, что эти слова сказаны в первый раз!

Твой, твой, твой!

Воронеж, 29-го июля 1914

Знаешь, Шурочка, после того, как запечатал и отослал тебе вчера письмо, так как-то хорошо сделалось на душе на целый вечер оттого, что сказал то, что хотелось, не боясь показаться пошлым. Милая моя Шурочка, Господи, как хочется, чтобы ты была здесь со мной. Теперь, вспоминая о Финляндии, кажется, что это была сказка или сон, и давно, давно! Ведь кто меня так понимает, как ты? С кем мне всегда, при всяких условиях, бывает так свободно и легко, как не с тобой?! Ведь отдельные мрачные моменты остаются моментами и быстро проходят, не они определяют наши отношения! Шурочка, мне хочется тебе хоть сколько-нибудь выразить, как я тебе глубоко благодарен за всё, всё, что я от тебя получаю и как я убежден в том, что ты много, много выше меня. <…>

Милая, милая моя Шурочка! Мне хочется так всё время писать и твердить одно и то же. Милая моя Шурочка, если бы ты была только немного спокойней, немного бы больше верила в меня, тогда разгладились бы морщиночки на твоем лбу, был бы всегда ясен твой взгляд, появилось бы больше бодрости, больше веры в жизнь и в то, что она прекрасна и интересна всегда, – ив спокойствии и в буре! Ну вот, не могу без того, чтобы не морализировать, не проповедовать своих истин. А ведь это старо, тебе давно известно! Ну, прости, больше не буду! А все-таки ты у меня милая, милая, хорошая моя, славная моя, дорогая моя Шурочка!

Эх! Поцеловать бы тебя сейчас как следует! <…> Что, Шурочка, ты почувствовала сейчас, как я тебя поцеловал? А? Верно, что это письмо, в сущности, даже не письмо, а длинный поцелуй на четырех страницах? Ты его так и понимай, потому что мне очень хочется тебя расцеловать здорово и как следует! Милая моя Шурочка! Поцелуй-письмо кончается! Прощай! А все-таки я думаю, что сегодняшнее письмо из всех написанных мною тебе – самое понятное! Верно?!

Твой Е.

Воронеж, 31-го июля 1914

Милая Шурочка.

Вчера не мог тебе писать, так как перебирался из Гранд-отеля в Троицкую слободу на казенную квартиру. Целый день был занят, а вечером у нас не было никакого освещения.

Знаешь, Шурочка, я вчера наконец нашел у воинского начальника два твоих письма мне от 24-го и 25-го. Милая моя Шурочка, с каким волнением прочел я их! Бедная моя и вместе с тем какая богатая! И как просто и непринужденно, как глубоко и задушевно! Какой я бедный в сравнении с тобой! Нет, лучше не сравнивать, минус для меня слишком явный. Остается только повторять всё одно и то же. Милая, милая моя, дорогая моя Шурочка! Ух! Как хочется тебя обнять и крепко, крепко поцеловать! Господи, как же это было доступно в Финляндии и, Боже, как это было давно! Вспоминаешь, и почти что не верится!

Последние дни у нас проходят тускло, несмотря на чудесную погоду. Третьего дня безвыездно сидел в Гранд-отеле, вечером – пулька. Вчера мы с Ал. Аф. с утра начали собираться. Что-то дорого жить на свои средства! Решили перебраться в слободу, в крестьянский домик, отведенный нашему 253-му госпиталю. Я ему предложил переселиться к нам, на что он охотно согласился.

У воинского начальника я достал письма от тебя (от матери до сих пор ни слуху ни духу). В почтамте оставил заявление, куда посылать адресованные мне письма. Уплатили по счетам, наняли извозчиков и поехали опять по всей Дворянской улице и через всю Троицкую слободу до самого края света, где стоит отведенная нам избушка на курьих ножках. Комната сравни-

тельно большая. Всякие там тюфяки, перинки и подушки мы велели убрать. Разостлали купленные в городе мягкие матрасы на полу, и вот – помещение готово.

В тот же вечер мне приходилось нижним чинам выдавать сапоги и шинели – канитель на несколько часов. Ложась спать, окружил себя кольцом арагацовой пыли[16], чтобы клопы не съедали, и в этом успел: за ночь раздавил только одного клопа. Ал. Аф. утверждает, что будто бы по моей физиономии гуляли тараканы, но я этого не помню – спал богатырским сном. Сегодня Левитский тоже купил себе арагаца, убедившись в его пользе.

В общем, несмотря на некоторые курьезы, устроились недурно. Обедать ходим на железнодорожную станцию, как раз к отходу московского поезда, чем я думаю воспользоваться, т. е. передавать письма кому-нибудь, внушающему доверие, с просьбой опустить в Москве в ящик. Меньше шансов, что затеряются. Обедает с нами и Кутька, также устроившийся в слободе.

Мы теперь узнали место нашего назначения. Это – городок Бар в Каменец-Подольской губернии, верстах в 100–150 от австрийской границы. Отправят нас туда, должно быть, около 15-го числа августа. В городке, говорят, около 20-ти тысяч жителей, больше евреев. Клопов, наверно, там еще больше, чем людей. Впрочем, поживем – увидим.

Газеты мы здесь покупаем регулярно на станции. «Русские ведомости» я прочитываю от доски до доски. Сегодня там прекрасная статья Буквы[17] о личности Вильгельма II. Ведь ничего подобного по объективности в других газетах не найдешь! Или вот статья «Ради достоинства»[18] (кажется, так) в том же номере. Как далеко от крикливого патриотизма «Русского слова».

Я, когда читаю газеты или Кнута Гамсуна, всё время вспоминаю тебя. Сплошь да рядом хочется что-нибудь прочитать тебе, узнать твое мнение, рассказать тебе о своем впечатлении… Мне кажется все-таки, что мы слишком мало читали с тобой немедицинские книги. Давай, Шурочка, в будущем заполним этот пробел! Верно?

Я здесь сегодня купил два тома писем Чехова. Когда прочту, пошлю тебе, и ты будешь читать то же самое, что и я. Хорошо? Может быть, я пройдусь по полям страниц кое-где карандашом или подчеркну кое-что, и ты догадаешься о том, что на меня произвело какое впечатление. И связь между нами будет еще более интенсивной!

Милая моя Шурочка, приободрись, не предавайся слишком грустным мыслям, верь в будущее. Правда, мне теперь кажется, что раньше Рождества, пожалуй, нам не вернуться. Но что значит эта временная физическая разлука, если духовная связь между нами такая полная и продолжает укрепляться! Милая моя Шурочка, приободрись! Верь, что я всегда с тобой, что бы ты ни делала! Верь, что я чувствую, что и ты всегда со мной, моя хорошая, и продолжаешь оказывать на меня всё то же облагораживающее, далекое от всего низменного влияние!

Милая моя Шурочка! Прощай!

Твой Е.

Воронеж, 2-го августа 1914 г.

Милая Шурочка.

Дни проходят за днями, а разнообразия нет никакого. Хотелось бы куда-нибудь, наконец, двинуться! Дела мне сейчас нет никакого, если не считать делом то, что я сейчас пробовал обед, приготовленный для команды. Впрочем, вру – вчера было у нас маленькое разнообразие, хотя не развлечение!

Когда мы втроем сидели за обедом на вокзале, мимо нашего стола прошел какой-то генерал. По совести говоря, честь, которую мы ему отдали, нельзя назвать особенно почтительной,

[16] Арагац – «персидский порошок» из дикорастущих цветов, ядовитый для насекомых.

[17] Буква, Не-Буква – псевдонимы популярного фельетониста И. М. Василевского.

[18] В статье «Ради нашего достоинства» Юр. Лигин (псевдоним Л. Н. Юровского), в частности, писал: «Мы воюем с Германским государством, стремящимся к мировому владычеству. Но мы не воюем с отдельными немцами, проживающими мирно в России».

но ведь мы и не знаем, как надо отдавать честь генералам. Одним словом, он обернулся к нам с весьма недвусмысленным советом, впредь честь отдавать более прилично, «ведь корпусный врач – это большое начальство»! Тут только мы узнали, что он нам до некоторой степени «коллега»! «Если, – говорит, – вы не желаете нарваться на скверную историю, то будьте более вежливыми. Ведь другой на моем месте этого так не пропустил бы!» Затем еще вопрос: «Вы запасные?», и после утвердительного ответа безнадежный взмах рукой, – дескать, от таких и ждать нечего! После чего величественно повернулся и ушел.

Мы в это время стояли болванами перед всей публикой и временами прикладывались к козырьку. Глупо, но мне даже не обидно. Всяк учит тому, что он сам понимает и как понимает. Чего с него требовать! Ведь он думает, что он прав!

С сегодняшнего дня мы будем обедать где-то в частном доме, где Кутька отыскал возможность за 50 коп. получить три блюда, причем генералов поблизости не будет. Таким образом, инцидент исчерпан.

Я здесь вчера оболванился, т. е. был у парикмахера и остриг свои пышные кудри под машинку № 3 за 20 коп. серебром. Стало легко на голове. Красоты не прибавилось, но и не убавилось, – рожа татарская!

Вчера вечером – пулечка, итог известный! Сегодня с утра начал читать письма Чехова. Мне весьма интересно, потому что вернее, чем в произведениях литературных, обрисовывается личность писателя в его письмах. А личность Чехова, несомненно, и интересная, и привлекательная. Материала, чтобы углубиться в эти личности, в письмах много, жаль только, что не всегда знаешь, что за люди те, которым он пишет.

Закончил я «Последнюю отраду» Кнута Гамсуна. Какая печать тихой грусти и резиньяции лежит на всем романе! И вместе, несмотря на приближающуюся старость, что за вера в жизнь, в молодость, в ее силу и вдохновение! Какая вера в необходимость всего того, что творится, чтобы спокойно, хотя и с грустью, поставить над самим собой крест и сказать: «Твое время ушло, уступай дорогу новым, свежим силам!» Вот это значит уважать природу и ее законы во всех ее проявлениях, даже тогда, когда она тебя уничтожает. Люблю я его, несмотря на все странности и неровности стиля. Люблю его, потому что землей, скалами, морем и соснами веет от его рассказов. Люблю его, потому что нахожу в нем отклик своих чувств и мыслей. Люблю его, потому что и природа, которую он описывает, напоминает мне природу, ставшую и мне (и тебе?!) дорогой и милой!

Господи, да я, кажется, даже в лирику ударился! Ну, всё равно. Прощай!

Твой Ежик.

Воронеж, 4-го августа 1914 г.

Дорогая моя солдаточка!

Вчера весь день шел скучный дождик, у меня болела голова, – и все-таки это был очень, очень хороший день. В этот день я, наконец, получил от своей Шурочки целых три письма и одно письмо от матери. Утром коллега пошел по грязи в город, а я остался дома, уверенный, что получу письма. И в Гранд-отеле, и на почте для меня целых четыре письма. Ура!

Милая Шурочка, меня сильно тревожит и огорчило то, чему ты не придаешь значения, а именно, что из-за меня отношение к тебе ухудшилось в Морозовской б[ольни]це! Неужели это так? Кому какое дело? <…> Я, Шурочка, пока еще более высокого мнения о своих коллегах по Мор[озовской] б[ольни]це и не думаю, чтобы они могли опуститься до такой мелочности! Напиши мне, Шурочка, что ты думаешь по этому поводу. Мне это кажется важным и стоящим того, чтобы разобраться.

Неужели Вильям[19] серьезно может предполагать, что и к нему отношения изменились? Странно! Я думаю, он скорее удручен самим фактом войны между двумя народами, которые он одинаково уважает и любит, и от дружбы которых он ждал большего, чем от вражды их. Нам, находящимся между этими двумя народностями, тяжело думать и говорить об этой войне. Мы знаем одно, что у нас есть обязанности, которые мы должны исполнять, независимо от того, легко ли они нам достанутся! Но мысли о том, что ко мне мои знакомые и друзья могут теперь хуже относиться только потому, что я немец, – этой мысли у меня не было, нет и не может быть. Я, хоть и с трудом, допускаю, что к незнакомым людям враждебной нации можно относиться с подозрением. Но к знакомым, хорошо знакомым?! Нет! Это невозможно!

Но ты права, Шурочка, что самое страшное в войне – это озверение, одичание мыслей и чувств, благодаря чему даже культурные люди начинают говорить то, чего раньше никогда бы не говорили[20]. Прочти хотя бы статью Евг. Трубецкого в «Русск[их] ведом[остях]» от 2-го августа, где он даже русский воинствующий национализм последних лет приписывает плохому переводу с немецкого![21] Какая чепуха, и какое затмение критической мысли![22] И как отрадно читать в том же номере «Р[усских] ведомостей]» передовую статью с горячим призывом не разжигать низменные националистические страсти[23]. Получается впечатление, что «Русск[ие] ведомости» борются сами с собой!

И какое глубокое нравственное удовлетворение получил я, когда все без исключения сообщения о пребывании русских в Швеции в унисон писали о необычайно приветливом и радушном отношении шведов к русским, которых они ведь считают своими врагами! Вот когда обнаруживается истинная культура, далекая от всякой кичливой крикливости, как хотя бы в Германии за последние годы! То, что творили немцы в Калише[24], и то, что мы еще будем творить в Германии, – это, я думаю, для шведов и финнов, насколько мы их знаем и любим (не так ли?), явится дикой невозможностью, невероятной сказкой. И я с гордостью читал эти сообщения. Недаром, значит, нас поражала эта скромная, не бьющая на внешний эффект культурность! И не ошиблись мы, когда вынесли от пребывания в Финляндии только хорошее впечатление о культурном уровне финнов и их учителей – шведов.

А правда, тягостно сейчас читать газеты? Сколько мелкой злобы, сколько без критики, на веру принятых непроверенных, явно ложных известий. И даже «Русск[ие] ведомости]» временами шатаются, сомневаются, не участвовать ли в дикой пляске?! Меня сильно утешает то,

---

[19] Вильям Николай Николаевич (1867–1920), старший врач терапевтического отделения Морозовской больницы, имевший немецкие корни. О нем Александра Ивановна (далее Ал. Ив.) была очень высокого мнения. «Вильям очаровывает меня всё больше и больше: удивительно интересный человек и очень образованный! Даже завидно, как много он знает и как во всем разбирается. А главное, меня трогает его семейная атмосфера. Мы тоже создадим такую», – писала она 19 июля 1915 г. Ал. Ив. неизменно отзывалась о Вильяме с большим уважением, называла «обаятельной светлой личностью» и как врача ценила его «больше, чем кого бы то ни было в Морозовской больнице». «Какой он образованный человек! – восхищалась она. – Нередко ухожу после этих разговоров совсем, совсем подавленная своей невежественностью, своим отсутствием политической ориентировки» (16 января 1916 г.).

[20] Это реплика на слова Ал. Ив. в письме от 31 июля 1914 г.: «Я очень рада, мое солнышко Ежик, что тебя всё интересует и занимает, и не дает сосредоточиться только на ужасах развертывающейся войны. Если бы ты только знал, какой ужас меня охватывает, какую боль испытываю при чтении газет. Не смерть, витающая кругом, Ежик, страшна, а озверение человечества».

[21] национального гения, а всего только *плохой перевод с немецкого*, неудачное подражание, которое до сей поры могло существовать у нас лишь благодаря слабому развитию национального самосознания» (курсив в цитате – Трубецкого. – *Сост.).*

[22] Ал. Ив. тоже обратила внимание на эту статью. 2 августа она писала Фр. Оск.: «Газету читаю аккуратно каждый день и всю, не то что в былые дни. Статьи, указанные тобой, читала с интересом и тоже всё время думала о тебе, мой милый. А сегодня любопытна по своей оторванности и наивности статья Евг. Трубецкого. А как тебе нравится заигрывание с поляками? Ты прав! Внутренняя политика после войны должна круто измениться. Только бы скорее конец этой войне. Иного желания у меня сейчас нет».

[23] В передовой статье содержался призыв к соблюдению долга человечности по отношению к немцам, находящимся в России.

[24] Немецкие войска вошли в польский город Калиш 20 июля, на следующий день после объявления войны, и учинили зверскую расправу над мирными жителями.

что ты, Шурочка, сумеешь отличить истину от лжи, поверишь, что все-таки далеко не всё, что сейчас взваливается и приписывается немцам, – правда! Ты знаешь, Шурочка, что я никогда не был националистом. И все-таки больно иной раз читать все эти дикие голословные нападки на немецкую нацию. Неужели так-таки окончательно уже забыты и Гете, и Шиллер, и Кант, и Ницше, и Бетховен, и Вагнер, и многие, многие другие!

Времени осталось мало до отхода поезда, а потому завтра – больше. Прощай!

Милая моя Шурочка, прощай!

Твой Е.

В то время от Воронежа до Москвы было 18–20 часов езды. Фридрих Оскарович не выдержал разлуки с любимой и сумел-таки 6–7 августа побывать в Москве…

Воронеж, 10-го августа 1914 г.

Милая Шурочка.

Пишу тебе наспех несколько строк. Вчера утром благополучно приехал. Ночью спал плохо, тесно, сильно устал.

Узнал, что у нас имеется главный врач, только не числящийся у нас по мобилизации, который не приехал, а вновь назначенный из числа ординаторов формирующихся здесь госпиталей. И знаешь, кто им оказался? Наш известнейший специалист по грудному возрасту – Федор Александрович Зайцев!!![25] Сюрприз! Но человек он, кажется, милый. Вчера днем мы вчетвером возились, затем меня послали с поручениями в город. Вернулся только к пяти часам. Спать хотелось адски. Выпили с Ал. Аф. чаю и в 7 часов завалились спать. Спал богатырским сном до 7 час. утра!

Вчера достал в городе твои четыре письма и три письма матери. Пишет, что Вилли вернулся через Торнео еще 23-го июля, о Лени нет никаких известий, хлопочут в М[инистерст]ве иностранных] дел[26]. Артур лишился места, но сейчас же получил новое, тоже хорошее, при рижском трамвае. Гуго – idem[27]. Эдит получила прибавку жалованья и много работает, шлет мне горячий привет. Отец ходит по комнатам и бьет мух, «объявил им войну»! Мать думает, что это у него первые признаки старческой дряхлости. Мать обо мне, конечно, сильно заботится, горюет, что не успели снабдить меня Бог знает чем, советует по возможности близко к границе не подъезжать и т. д.

Я сегодня утром засел, чтобы первым делом ответить ей, ведь я ей давно не писал, и она мне ставит много вопросов. Но я так и не успел окончить. Уже в 9 ч. пришли все коллеги, и с тех пор у нас шел военный совет до часа дня. Чтобы поспеть бросить письмо в поезд, я должен спешить. Матери письмо придется послать уже завтра.

Официально объявлено, что мы выступаем в Бар в среду, 13-го числа, но медицинского имущества у нас у всех еще нет и, быть может, мы останемся еще целую неделю. Когда будет точно известно, я дам телеграмму: едем. Тогда пиши до востребования в Бар, Каменец-Подольской губ.

Левитский не получил отпуска, дела еще много, а времени нет. Милая Шурочка, прости, что я тебе так скверно пишу*, но хочется еще сегодня послать тебе весточку, а времени нет. Поспеть бы только!

Прощай, моя хорошая, не горюй, пиши подробно. Как дела брата?

Прощай, крепко, крепко целую мою женушку.

Твой.

---

[25] Ф. А. Зайцев, из врачей-ассистентов Морозовской больницы, специалист по грудному вскармливанию.

[26] Война застала Лени в Париже, и родные беспокоились, как ей удастся оттуда выбраться.

[27] Idem *(лат.)* – то же самое.

Холодно!

За твои милые письма спасибо, спасибо!

* Письмо написано беглым, размашистым почерком – чем дальше, тем крупнее.

Воронеж, 11-го августа 1914 г.

Милая Шурочка.

Вот уже опять прошло два дня без тебя! Пока ничем серьезным заняться не удалось, даже пулечки еще не составили. Пишу тебе рано утром, а то боюсь, что опять не дадут обстоятельства писать тебе спокойно.

Вчера закончил длинное (в 8 страниц) письмо матери, вложил [фотокарточки и посылаю заказным. Объяснил ей всю сущность устройства полевых госпиталей и как они функционируют. Из ее писем ясно, что она имеет довольно смутное представление о том, как мы будем работать. Успокоил ее насчет моей экипировки. Она себя упрекала во всех письмах за то, что так мало обо мне позаботилась при моем внезапном отъезде. <…>

Вчера вечером получена у нас телеграмма, что медицинское имущество выслано из Москвы. Может быть, мы и в самом деле поедем послезавтра в Бар?! <…>

Жду сегодня получить письмо от тебя. Ведь получу? Ты, Шурочка, не скрывай от меня ничего неприятного, пиши мне и про брата и про то, что тебе приходится переносить. Я хочу знать всё, что касается тебя! Слышишь?!

Зайцев пока производит очень хорошее впечатление. Я думаю, что мы здесь вчетвером хорошо уживемся – нет среди нас чиновников и формалистов. Сегодня я еду в город закупать всевозможные хозяйственные принадлежности, думаем жить своим хозяйством. Кроме того, куплю по просьбе Зайцева шашки, шахматы и карты. Как видишь, готовимся бороться с всевозможной скукой. Впрочем, мне она не страшна – у меня есть несколько занятий: писать своей женушке письма, заниматься французским языком и читать хорошие книги!

Милая Шурочка, как ты переносишь вторую нашу разлуку? Ведь правда, ты теперь бодрее, чем прежде? Или нет?

1 час дня. Сделал два снимка. После чая пришел Зайцев, сидели, занимались немного делом и больше болтали. Нет, он, правда, симпатичный парень. Я очень доволен, что мне, таким образом, удалось с ним ближе познакомиться. К тому же он веселый, не без юмора! Будет хорошо! <…>

Прощай, моя хорошая Шурочка.

Твой Е.

Воронеж, 12-го августа 1914 г.

Дорогая Шурочка.

Ни вчера, ни сегодня я от тебя писем не получал. Неужели они затерялись? А я так уверенно рассчитывал получить сегодня.

У нас, Шурочка, неразбериха! Зайцев, должно быть, у нас не останется. Он назначен был здесь заведующим формированием, а вдруг сегодня предписание из Петербурга: ждать присланных оттуда военных врачей, назначенных в госпитали. Вот так штука! А мы уже радовались! Получим какого-нибудь бурбона петербургского.

Затем относительно дня нашего отправления также ничего не известно. Назначены на завтра. Медицинское имущество, говорят, прислано, но только частью, так как цены в Москве слишком дорогие. Предлагают нам недостающее покупать здесь, в Воронеже. Главные врачи хотят от этой чести, конечно, отказаться. В общем, получается полная неразбериха.

Мы очень огорчены, если только оправдается, что мы получим формалиста за главного врача. Пока еще не теряем надежды, что, может быть, как-нибудь этот вопрос уладится.

Ты, Шурочка, читала статью Ал. Толстого в «Русск[их] ведомостях]» от 10-го числа «Макс Вук»?[28] Верно, много правильного, есть желание разобраться в психологических основаниях настоящей войны, как культурный немец понемногу превратился в безличную, управляемую и бездушную машину. Конечно, кое-что односторонне и несправедливо. Нельзя так обобщать, как это делает Толстой, но всё же здесь отношение к трактуемому предмету серьезное. Напиши, Шурочка, как твое мнение об этой статье. Мне хочется знать, всегда ли твое мнение при чтении газет сходится с моим. Ведь я, Шурочка, «Русск[ие] ведомости]» всегда читаю мысленно с тобой и всегда спрашиваю себя, что тебе может понравиться и против чего ты должна восставать. К этому письму я прилагаю две вырезки из понедельничных газет, статьи, с которыми я более или менее согласен. Только, не правда ли, чудно, что надо еще доказывать интеллигентным людям, что Шиллера можно и должно сейчас ставить в театре, несмотря на то, что он немец! Неужели Художественный театр по таким побуждениям откажется от «Дон Карлоса»!

Другая статья тоже старается понять и разобраться в психологии современного германца. Там много воды, но основное правильно, что существуют две стороны немецкого национального характера: один тип идеалиста, мечтателя, немножко сентиментального, далекого от жизни, толерантного, добродушного, непрактичного – это южно-германский тип первых двух третей прошлого столетия; и тип холодного, грубого, практичного, умного, но черствого, малодоступного для восприятия чувства изящного, расчетливого дельца – это пруссак новейшей формации. Пруссак задает тон. Он создал государственное могущество Германии, но благодаря гипертрофии одних качеств получилась атрофия других, не менее важных, а, быть может, и более ценных. Расплачивается сейчас за это немецкий народ. Будем надеяться, что появится вновь старая Германия, культурные ценности которой не могут исчезнуть никогда!

Прости мне, Шурочка, мою тебе давно известную философию. Все-таки задевают ведь эти газетные статьи и заставляют всё снова и снова возвращаться к одной и той же теме.

Прощай, моя дорогая.

Твой Ежка.

Воронеж, 15-го августа 1914 г.

(два дня не писал)

Дорогая Шурочка.

Вчера, наконец, получил твоих два письма. Прежде всего, камешек, брошенный в мой огород по случаю непоявления моего у окна [поезда], я бросаю обратно.

Что я не был занят, Шурочка, а просто хотел не затягивать разлуку, которая, кроме горечи, уж не могла дать больше ничего, хотел покончить разом, – это, Шурочка, ты, конечно, сама понимаешь. Затем, моя милая, относительно стиля! Знаешь, давай условимся, не будем больше говорить и писать о своем стиле – каков есть, таков и слава Богу! Я боюсь всякого упоминания о стиле, боюсь сравнений. А что я всегда пойму, что ты хотела сказать, в этом, Шурочка, ты можешь не сомневаться.

И, наконец, самое главное. Шурочка, милая моя, к чему эти упреки в том, что ты «внесла столько горечи для меня в праздник встречи»? Милая Шурочка, никогда, никогда ты не должна этого думать. Знай, что горечь, которую ты могла бы внести в наши отношения, – это капля в море радости и света, и верь мне, что это не слова! Хорошая моя, выкинь эту мысль из головы. В наших отношениях, Шурочка, столько светлого и хорошего, что немудрено, если от такого

[28] А. Н. Толстой, впоследствии знаменитый писатель, во время войны работал корреспондентом газеты «Русские ведомости».

обилия света получаются и некоторые тени. Но затемнить они фона не могут, наоборот, резче и ярче выступают светлые места картины. Если мы и должны стремиться к светлой ясности, то это еще не значит, что малейшая тень должна нас ввергать в уныние[29]. Для контраста и это нужно!

Веришь мне, Шурочка? Не сомневайся там, Шурочка, где сомневаться совсем не надо! Целуй меня, Шурочка, долгим, долгим поцелуем, но только не искупительным, слышишь! Ты у меня не Золушка, а скорее спящая красавица, которую надо разбудить для прекрасной, светлой, радостной жизни! Хочешь? Пойдем вместе!!!

А у нас всё по-старому. Неразбериха усиливается. Из Петербурга нам врачей не присылают. Может быть, Зайцев и останется, было бы очень хорошо. Он в японскую кампанию был главным врачом санитарного поезда Красного Креста. Немного, значит, знаком с нравами и обычаями этой среды. К тому же он человек энергичный и не дает себя запутать в скверные истории. У него всё будет без сучка и без задоринки.

Медицинское имущество частью прислано, но еще не выдано. Другую часть Москва предлагает закупить здесь, в Воронеже. Заведующий аптечным складом старается свалить на главных врачей, те отбояриваются. Нашелся еврейчик Муффки, взявшийся достать резиновые изделия. Какого качества, можешь себе представить! Вместо полагающихся 32 пузырей на госпиталь предлагают выдать по одному! и т. д.

Телеграммы в Петербург, в Москву, телеграммы из Петербурга, из Москвы. Вдруг сегодня приказ: сводным госпиталям, назначенным оставаться в Воронеже, немедленно отправиться в Курск и Харьков (значит, и Кутьке). Они начинают сегодня укладываться, а заведующий формированием предлагает особенно не спешить, так как ведь завтра, должно быть, будет получена отменяющая распоряжение телеграмма!!! И т. д., и т. д. <…>

Алексей Аф. в таком же положении. Зайцев сидит каждое утро у нас, беседует. Французский язык у меня подвигается, хотя и медленно. 2-й том Чехова

сегодня заканчиваю, завтра вышлю. Все-таки советую читать. Штудируем газеты, следим по карте, отмечаем флажками, спорим о зверствах и т. д. Публика все-таки поддается логическим убеждениям, хотя и туго.

От матери больше писем не получал. Много мух! Дождик сегодня.

Прости, моя Шурочка, что два дня не писал – ждал я твоих писем и вот дождался.

Прощай, моя хорошая.

Воронеж, 16-го августа 1914

Милая моя жена!

Дождь, тускло, серо, слякоть. Пишу тебе рано утром. Жду сегодня от тебя письмо. Коллеги еще спят, в соседней комнате хозяйка-теща ругается, по обыкновению, со своим зятем. Тяжелая, увесистая ругань. Мух видимо-невидимо! Кислый запах в комнате, грязь и пыль на полу и всех предметах. Вот наша обстановка! Однако, Шурочка, не думай, что я это описываю для того, чтобы тебя разжалобить. Если рано утром дождь, то, значит, днем будет солнце. Откроем окна, часть мушиного стада выгоним, зять уйдет, и ругань прекратится, грязь и пыль заставим Федора убрать мокрой тряпкой. Одним словом, всё это поправимо и пройдет. Временная неприятность. Уныния из-за этого не будет.

Дела госпиталя *in statu quo.* Оказывается, что уже несколько дней тому назад сюда приехал какой-то генерал из Москвы, которому подчинены все наши госпитали. Остановился он в гостинице и ждал, когда к нему явятся подчиненные власти. Ате ничего не знали! Общий

[29] С первых дней расставания с любимым Ал. Ив. тяжело переживала разлуку. Например, 31 июля она писала: «Читаю в последние дни мало, а работы много и уныния – тоже. Скоро ли кончится весь этот кошмар? Даю тебе слово, Ежка, что я буду тогда жизнерадостной и светлой, как ты. Ты веришь, да?»

конфуз! Генерал – старичок, отставной, ничего не понимает. Ему сказали, что здесь ему всё объяснят, а тут только имеются противоречивые телеграммы из Петербурга и Москвы. Неразбериха. А теперь у генерала распоряжением из Москвы отняли его сводные госпитали и перевели в Курск и Харьков. Чтобы не остаться совсем без подвластных, он слово «немедленно» толкует широко и задерживает госпитали до воскресенья, авось к тому времени одумаются и оставят их здесь, в Воронеже.

Главным врачам дали деньги на руки – извольте закупить всякие катетеры, термометры и пузыри! Достанете что-нибудь – хорошо, нет – ваше дело. Путаница увеличивается.

Приехали третьего дня к нам сестры. Пока три, четвертой еще нет. Приехали они из Ташкентской общины. Старшая – вертлявая, болтливая, маленькая, с лошадиной физиономией, неопределенного возраста (35–65?), говорит за троих, во всё сует свой нос. Другая – крепкая, краснощекая, громко смеющаяся, зубастая девка (23 года), нрава, кажется, веселого, без претензий, провинциалка, выросла в Верном[30] Семиреченской области, других городов пока не видала. Третья – совсем молоденькая (20 лет) девчонка с томными, кокетливыми глазами, с некоторой претензией на изящество, выросла в Кронштадте, затем попала в Туркестан, крест получила только что в мае. Со вчерашнего дня зажили своим хозяйством, обедали вместе, приготовленное нашими двумя поварами. Наелись здорово, страшно надоела ресторанная еда.

Кончил вчера 2-й том Чехова, начал 3-й – письма, написанные во время путешествия на Сахалин. Сколько наблюдательности и сколько непринужденного (иной раз даже слишком непринужденного) юмора! Правда, советую читать.

Печатал и печатаю фотографии, на днях пришлю. Красивого в них мало, но жанровый интерес, а для меня – исторический, они, конечно, имеют. <…>

Эх! Была бы ты здесь! Зажили бы даже в этой обстановке!

А солнце только что выглянуло на минуточку, будет хорошо!

Прощай, моя Шурочка,

Твой Ежка.

Воронеж, 17-го августа 1914 г.

Вчера, Шурочка, я получил твое письмо от 12-го/VIII, которое меня очень, очень обрадовало. Ведь ты, Шурочка, становишься спокойней, только продолжай в этом же духе, не поддавайся всяким шквалам и внезапно налетающим бурям мнений в себе и в других. Стала ты спокойней – и сразу тебя заинтересовали окружающие: и директор, и Мих. Ал.[31], и раненые, и «Русск[ие] ведомости]» и т. д. Вот видишь! Надо только постараться! Это ничего, что я тебе так наивно пишу, ты всё равно прими к сведению.

А у нас слухи, слухи, слухи! Вчера стали говорить, что нас в Бар не отправят, что ждут телеграммы с приказанием выступить на Кавказ, к турецкой границе! А сегодня опять утверждают, что в ближайшие дни поедем все-таки в Бар. Вот и разбери, что будет. Ждем у моря погоды. Часть медицинского имущества (инструментов, фармацевтических средств) вчера выдали, часть (хотя и весьма малая) нами закуплена здесь. Может быть, и в самом деле на этих днях выступим. Вчера узнал, что Кутька несколько дней тому назад поехал в Москву, и в тот же день ему была послана телеграмма немедленно вернуться, так как сводные госпитали сегодня должны отправиться в Харьков. Так что Кутька, только что приехав, в тот же день должен был выехать и быть сегодня утром уже здесь, в Воронеже. Бедный, напрасно проездил, – не везет.

---

[30] Ныне Алма-Ата (Алматы).

[31] Скворцов Михаил Александрович (1875–1963), прозектор Морозовской больницы, впоследствии выдающийся патологоанатом, академик Академии медицинских наук СССР. К нему Фр. Оск. и Ал. Ив. относились с большим уважением и симпатией. Ал. Ив. писала: «Удивительно он милый и интересный человек» (3 августа 1915 г.). В другом письме она называла его «очаровательным собеседником» и уточняла: «Он прост, непринужден и весел» (9 октября 1915 г.).

Вчера все мы были в бане: Зайцев, Левитский, Ал. Аф. и я. Здорово парились, мылись. Вспоминал, глядя на свою чистоту, былые дни, с надеждой взирал на будущее – будем и мы рысаками. После бани решили скопом пойти в Общественный сад на оперетку «Цыганские романсы». Я думал, что будет хуже. Под конец певцы и певицы распелись, и было совсем недурно. Правда, много было наивного и в декорациях, и в костюмах, и в приемах. Вставные куплеты на злобу дня также были лишены особенного остроумия, вроде: австрийцев и германцев все лупят, или вздохи на тему, как трудно прожить без водки[32] и т. д. Но, в общем, все-таки лучше, чем я думал.

Это в первый раз, что я вечер провел не дома, и, должно быть, это будет и последний раз. Все-таки разве можно сравнить удовольствие, которое получаешь дома, сидя за хорошей книгой, с удовольствием сомнительного качества в неуютной чужой обстановке «Семейного сада»? Это мораль, которую я каждый раз извлекал из набегов в «аквариумы», «эрмитажи» и т. п. <…>

Присылаю тебе имеющиеся фотографии и образчик современного публицистического стиля, извлеченный из фельетона Т. Ардова в «Утре России»[33]. Кажется, в красноречии дальше ехать некуда.

Фактическая поправка: немцы обвиняют в зверствах пока не русских, а только французов и бельгийцев. Моя точка зрения тебе известна: всегда вражеская сторона в последние войны обвинялась в зверствах. Единичные факты всегда возможны и, несомненно, имеют место и с той, и с другой стороны. Такова человеческая природа. В систематические, так сказать, официальные зверства я не верю, сколько бы ни писали об этом. Это, во-первых, бесцельно, а во-вторых, глупо, так как может заставить противника отплачивать систематически тем же*.

<…> Погода вчера днем и сегодня хорошая, теплая. Пол вымыт. Мухи одолевают!

Почему ты мне ничего не пишешь о своем брате? Как и что? Я жду.

*Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 18-го августа 1914

Ну вот, Шурочка! А я тебя только что хвалил за спокойствие! А сегодня тон опять совсем пессимистический. Ах, твои быстрые переходы! Ну, ничего, это просто головная боль тебя опять изменила. Ведь теперь голова не болит, и ты опять спокойно и ясно смотришь на всё, не так ли? Бедная моя, не дают тебе опять спать стенотики[34]. Господи, когда же тебя возьмут из дифтерита! Ты ведь, в конце концов, совсем расстроишь свои нервы!

Ну а относительно духовных причин твоего плохого настроения я с тобой согласен. Что для многих коллег война – это только способ всякими путями урвать от казны лишний кусок, это верно[35]. Здесь у нас, например, большую роль играют так называемые «лошадиные деньги».

---

[32] 18 июля органам местного самоуправления было предоставлено право закрывать торговлю спиртными напитками. С 22 августа «сухой закон» был ужесточен и продлен до окончания военных действий.

[33] В письмо вложена вырезка из статьи Т. Ардова (псевдоним В.Г. Тардова): «Опаиваемый пивом, обкармливаемый колбасой и мясом немецкий мопс пухнул и хмелел из года в год, глаза его наливались кровью, и скоро вся Германия стала похожа на одного огромного Бисмарка, на эту отвратительную фигуру, обсыпанную сигарным пеплом, пропахшую прогорклым вчерашним пивом. И гордо выставившую вперед живот. Вся Германия, – как та статуя Бисмарка, нелепый колосс, глупым пятном испортивший зеленую долину прекрасной реки; точно насосавшийся клоп, уселась она посреди Европы. – В глубоком опошлении, в последнем угашении духа, коллективная немецкая посредственность зачеркнула всё на свете, кроме “богатства” и “силы”, и сделала своим идеалом колониального “плантатора” из Камеруна, расстреливающего своих рабов, Круппа из Эссена и его великого кайзера, могущественного кайзера, этого Нибелунга двадцатого века, потомка “кровожадных азов”, ездящего в автомобиле, рожок которого играет “шествие богов в Валгаллу”. Всё символично в этой Германии, от Вагнера до Цеппелина, похожего на обширную колбасу, и до открыток со свиным задом!» (Утро России. 1914. 14 авг. № 189. С. 1).

[34] Стенотики – больные дифтерией со стенозом гортани (крупом), задыхающиеся и требующие немедленной интубации дыхательных путей и трахеотомии.

[35] Настроение Ал. Ив. переменчиво. Только недавно, 11 августа, она писала: «Наконец, после двухдневного напряженного

Дело вот в чем: по мобилизационному плану полагается в каждый подвижной госпиталь по лошади на врача. Выдаются ему деньги на лошадь, на седло и, кроме того, еще какие-то добавочные на седло, в общей сумме – 395 рублей. Подвижным госпиталям лошади необходимы, запасным же – нет, нас будут перевозить по железной дороге. Поэтому в мобилизационном плане и указывается, что запасные госпитали получают только одну лошадь для телеги.

Вот это и показалось многим врачам обидным. Отыскали какую-то не отмененную статью закона, по которой и нам следует получить по лошади, т. е. *деньги* на лошадь и фуражное на нее довольствие, в размере 1 р. в сутки. И вот многие старшие врачи запасных госпиталей выдали уже и себе около 1000 рублей (а им полагается 3 лошади, коляска, упряжь), и своим ординаторам эти пресловутые «лошадиные деньги», и регулярно берут и фуражные деньги, дескать, по закону полагается, почему не брать. Некоторые деньги пока хранят до окончательного выяснения вопроса, а некоторые, ничтоже сумняшеся, послали их уже домой.

Красиво, верно? А уж разговоров, разговоров сколько было! Во всяком случае больше, чем о делах госпиталей. В нашем госпитале этот вопрос даже не поднимался. Если окажется, что нам полагаются лошади, я себе куплю, так как надоело пешком по грязи бегать в город и тратиться на извозчиков. Но получать фуражное довольствие на лошадь, не имея лошади! Брр!

Вообще, Шурочка, я с тобой согласен, что порядочных людей не так уж много среди коллег, – милые товарищи! Но всё же, Шурочка, не следует из-за этого повесить нос и разочаровываться во всем. Если нет сейчас, то будут. Дадим же пример, и только! И вообще, моя хорошая, не верь в то, что начинается «томительно скучная пора», не настраивай себя на такой лад. Будет не скучно, а будет интересно, только не так, как было со мной, а по-другому! Верь, тогда и не будешь нервничать и обижать товарищей. И будешь ты хорошая, а не нехорошая, как ты себя величаешь. Вот опять тебе мораль прочел. Ничего, это тебе полезно!

Знаешь, Шурочка, какой я глупый! Вот уже три недели мы здесь сидим в Троицком, на самой его окраине, и только вчера мы втроем догадались пройтись и посмотреть, что за окрестности. И оказалось, что тут близко есть чудные места. Воронеж стоит на горе, и кругом тоже холмы и долины. Вышли мы из села, подошли к железной дороге. Затем вдоль полотна шли версты две или три. Насыпь высокая, а с нее прекрасный вид на обе стороны: долины, леса, справа река Воронеж, а вдали на другом холме виден Воронеж, а у самого горизонта – уходящий вдаль, на Ростов, поезд. Погода прекрасная. Затем свернули влево и через поля добрались до рощицы, где под высокими дубами и отдохнули.

Как бесплатное приложение к этому письму прилагаю листочек с одного из этих дубов. Посмотри на него с грустью, с надеждой, с верой в будущее. Придет опять наше время, когда мы с тобой будем гулять вдвоем, придет опять наш «остров Нагу».

ожидания раненых, сегодня мы их увидели. Привезено их 101 человек в 10 часов вечера. Еще издалека слышались тягучие рожки автомобилей. И какое же особенное волнение при виде многочисленных мчавшихся с огнями и флагами Красного Креста автомобилей. Почувствовали веяние войны. Раны довольно легкие, главным образом в области конечностей. Перевязывали все ассистенты и наши хирурги. К 12 часам всё уже было сделано: солдаты перевязаны, накормлены, переодеты и уложены. – И знаешь, Ежичка, какая сплоченность и солидарность чувствовались в это время. Дедушка порхал, и взор его был светел и радостен. Неправы те, кто обвиняет нас в специфичности и узости. Ведь разве можем мы получить такое общественное воспитание, какое дается вам благодаря гражданским обязанностям?». Дедом, дедушкой молодые врачи называли директора Морозовской больницы Н. Н. Алексеева. О нем Ал. Ив. тогда отзывалась с большой теплотой: «Знаешь, я совсем очарована своим дедусей: он позаботился доставлять раненым почтовую бумагу и каждый день – газеты. Им, кажется, здесь хорошо» (12 августа). Но относительно гражданских чувств врачей в целом она начала проявлять некоторый скептицизм: «Особенно что-то тяжело сегодня. Уж очень приходится разочаровываться в том общественном подъеме, про который так усиленно пишут газеты. Вот, хотя бы взять оборудование госпиталей. Сколько за последнее время было разговору у наших старших врачей относительно массы работы по устройству этих госпиталей. Я сочувствовала им всей душой и готова была предложить свои услуги; думала – всё это святой безвозмездный порыв. А оказывается, эти госпитали просто-напросто лакомый кусочек для всех городских врачей, за который они очень жадно хватаются, забывая свой долг перед обычными своими больными. Ведь 125 рублей что-нибудь да значат. Простым же врачам, желающим только заниматься в госпитале, нечего туда и нос совать. Разве всё это не противно, Ежичка? Война – это просто рентгеновские лучи для всего скверного в человечестве. Слышишь всё это нехорошее и хочется хоть самой-то лучше быть, а выходит только хуже: нервничаешь, раздражаешься и обижаешь других» (14 августа).

Кончилось наше сиденье под дубами большим сражением желудями, причем я потерпел поражение и удрал в лес, красивый лиственный лес. Там мы опять соединились и наткнулись на фруктовый сад. Купили у старика яблок и груш, перебрасывались тыквами и вообще вели себя непринужденно. На обратном пути попали в красивую долину – по обе стороны холмы, покрытые лесом. Затем прошли мимо тихого пруда при вечернем закате. Было очень красиво и тихо-тихо. Людей почти не было. Попались только четыре семинариста, очень красиво певшие хором «Из страны, страны далекой», «Стоит на Волге утес» и т. д. И тенор, и бас были великолепны. И всё, Шурочка, думалось, почему тебя нет. Было так хорошо, а как хорошо было бы с тобой!!!

Думаем сегодня после обеда опять пойти в те же места. Какие мы глупые, что всё время сидели дома! Возьму сегодня с собой фотографический аппарат.

Будь спокойна, моя хорошая. Целую тебя крепко,

Твой Ежка.

Воронеж, 19-го августа 1919 г.

Милая Шурочка.

Вчера снова получил письмо от тебя, от 15-го числа. Ты мне стала писать совсем аккуратно. Хвалю за это! И настроение твое 15-го числа было опять приличное. Как быстро оно у тебя меняется! Ах ты, моя непостоянная!

Вчера у нас заладил дождь, мелкий, серый и дюже мокрый. Всюду слякоть и грязь. Таким образом, не пришлось вчера гулять! Сегодня же погода опять прекрасная, и мы думаем воспользоваться этим.

Медицинское имущество мы сегодня окончательно получим. Из 18-ти ящиков имеем 17. Завтра думаем объявить рапортом заведующему формированием, что госпиталь 253 готов. Даже резиновые изделия мы получили здесь, в Воронеже, хотя и не все, и не всегда такого качества, как нужно. Теперь, я думаю, можно уже с большой долей вероятности сказать, что на днях выступаем. Все-таки, должно быть, в Бар. Главный врач из Петербурга что-то долго едет. Пока у нас еще Зайцев.

Сегодня мы получаем жалованье. На мою долю 131 рубль, но, говорят, что Левитский что-то напутал, и что мы должны получать больше. Себе как старшему ординатору он высчитал около 300 р. Высчитывать приходилось по всяким законам, и разобраться в них не так уж легко. Как бы то ни было, завтра я отдам Алекс. Аф. 35 р. и тебе пришлю остальные 30 рубл[ей]. (Ведь 25 р. ты получила?) <…>

Хочу, кстати, послать и 20 рубл. сестре, чтобы заодно уж отделаться от долгов. Останется портной, которому я 51 р. пришлю по получке следующего жалованья. Когда мы отсюда тронемся, то нам опять выдадут какие-то прогонные и увеличенные суточные, так что, думаю, месяц я проживу. Неинтересно, верно? Ну ничего, приходится иной раз и такими скучными материями заниматься.

Позабыл тебе писать, что книги, купленные мною у Кутьки, это: проф. Felix Lejars «Хирургическая помощь в неотложных случаях», в двух толстых томах, издания Карцева. Хвалят, но я еще не начинал читать, так как увлекся следующим томом писем Чехова периода поездки на Сахалин. Читай, Шурочка, читай, удивительно у него правильное (на мой взгляд) мнение о людях, и как он ненавидел всё мелочное и пошлое, не словами только, но всем своим нутром. А если кого полюбит, какое удивительно хорошее отношение, какая вера (напр., к Суворину[36]). Нет, положительно большое наслаждение я получаю от этих томов.

Шурочка, пиши мне о своем брате, о своих семейных делах, не умалчивай, я прошу тебя! Ты хочешь знать обо мне и моих родных всё, и я тоже хочу знать всё о тебе и твоих.

[36] Имеется в виду А. С. Суворин, известный издатель и драматург.

Прощай, моя дорогая Шурочка, прощай моя хорошая.
Твой Ежка.
(Хороша подпись?)*
<…> Вот уже пять дней подряд пишу тебе. Ай да я!
* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 21-го августа 1914 г.

Шурочка, я угнетен! Рука моя дрожит, туман застилает мне взор, мороз пробегает по спине! Нет, кроме шуток, случилось нечто весьма неприятное: вчера приехал из Петербурга наш новый главный врач и произвел на всех нас весьма неприятное впечатление. Так как большинство госпиталей объявило себя готовыми, а из Москвы нашему заведующему формированием (очень милому человеку) прислали нагоняй за то, что дело плохо налаживается, и приказали нам сейчас же выступить, – мы вечером всем составом пошли на сборный пункт узнать, к какому часу нам комендант станции приготовит эшелон.

Пока мы там сидели и болтали, внезапно быстрым шагом вошел среднего роста и возраста военный врач в походном снаряжении, т. е. с ременной крест-накрест портупеей, ременным же поясом с револьвером (для ча?[37]), в золотых очках, с маленькой, a la Napoleon III, черной бородкой и острыми колющими глазами. Вошел и быстро стал обходить всех, здороваясь и представляясь Марковым. Мы знали, что к нам должен приехать именно Марков, спросили, к нам ли он приехал, и вот познакомились. Скороговоркой, резким голосом он стал расспрашивать Зайцева о делах госпиталя, постоянно его нетерпеливо перебивая: я знаю, знаю.

В общем, такой тон, который мы тут еще не слыхали ни от кого. Военных врачей здесь много, однако, никто не производил, хотя бы вначале, подобного впечатления, никто из них здесь начальством себя не держал. Чин у него не выше других главных врачей, но, говорят, что он служил в Петербурге у крупного медицинского инспектора или что-то в этом роде. Одним словом, чувствует себя шишкой, с твердой почвой под ногами. «Как Ваша фамилия?», «А Ваша?» и т. д. Всё это говорится начальственным отрывистым, не терпящим возражений тоном.

Может быть, первое впечатление хуже, чем окажется на самом деле, но пока мы словно с рая на землю свалились. Чувствуем себя более пораженными, чем при прочтении о нашем поражении в Восточной Пруссии[38]. Там-то ведь дело поправимо, а здесь? Только ты, Шурочка, не удручайся, может быть, он окажется неплохим. Ведь бывает же у некоторых людей неприятный тон, несмотря на то что они недурны. В крайнем случае, если он формалист и чиновник, то можно себя обставить формально, чтобы придраться было не к чему. Товарищеских отношений с ним не будет, но зато они имеются с другими коллегами.

Ты, пожалуйста, моя хорошая Шурочка, не огорчайся! Уедем мы, должно быть, сегодня. Извещу тебя телеграммой. Пишу рано утром. В 9 часов к нам придут Марков и Зайцев и сдадут один другому свои обязанности.

Наше поражение меня сильно огорчило. Неужели и теперь у нас там царит халатность? Ведь чтобы уничтожить штаб, надо было обойти корпуса сзади! Они зевали, и их обошли! Неужели мы всё еще недоросли? Нет, нам превосходством своей культуры еще рано кичиться. Верно?

---

[37] Для ча? (*просторен.*) – Для чего? Например: «А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?» – спрашивал хозяин распивочной Мармеладова (см. *Достоевский Ф. М.* Преступление и наказание).

[38] Наступательная операция Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии 4 августа – 2 сентября потерпела неудачу. 2-я армия под командованием генерала от кавалерии А. В. Самсонова была окружена и понесла огромные потери. Чтобы избежать плена, генерал Самсонов в ночь на 17 августа застрелился. Сообщение штаба верховного главнокомандующего о больших потерях двух корпусов, гибели трех генералов (А. В. Самсонова, Н. Н. Мартоса, Е. Ф. Пестича) и некоторых чинов штаба было опубликовано в газетах 19 августа. 1-я и 2-я армии были выдавлены из Восточной Пруссии. Однако эти боевые действия отвлекли часть сил германской армии и не позволили ей одержать победу на Марне.

Не огорчайся, милая моя Шурочка, моим письмом, всё образуется. Целую крепко.
Твой Е.

Воронеж, 22-го августа 1914 г.

Вчера получил два твоих письма от 17/VIII и 19/VIII. Милая моя, хорошая бедная Шурочка! Опять неприятность с директором[39]. <…> Не у него ли и Бор. Абр.[40] научился своей несдержанности? Как будто бы ничего себе человек, и вдруг такая нелепая вспышка, ни на чем не основанная, – и всё к черту! А нашему брату приходится страдать.

Представляю себе твое состояние, моя дорогая. Я бы постарался тебя утешить, погладил бы тебя по головке, говорил бы: плюнь, Шурочка, тебя от этого не убавится! Он не тебя, а себя наказывает своей резкостью, себе же он выдает testimonium paupertatis[41]. Но, конечно, обида и боль всё же остаются, несмотря на все доводы рассудка. Ведь больнице отдаешь всё свое время, все свои нервы. Знаешь, что обязанности свои исполняешь добросовестно, даже более. И видеть в ответ такое к себе недоверие, знать, что никогда ты не гарантирован от грубого немотивированного окрика, – это больно! Сочувствую тебе, Шурочка, всей душой, ведь и мне приходилось испытывать то же самое. Я это знаю.

Только, моя хорошая, ты не должна из этого события делать вывод, что ты всюду и всем приносишь одно только неприятное, что ты нехорошая, что ты виновата. Шурочка, не смей даже в мыслях иметь что-либо подобное! Это неправда! Это твоя впечатлительность и нервность наталкивает тебя на такие мрачные мысли. Поверь моей объективности, это неправда!

Ты, моя Шурочка, нервная, а нервные люди при нервном настроении в нервной атмосфере еще больше нервничают. Отсюда и грубая выходка директора по адресу «маятника». Вот и всё. Но считать себя причиной, виновницей, Шурочка, Боже упаси. Ты этого не делай и не думай!

Что свет клином не сошелся на Морозовской больнице, это я тоже думаю и совершенно с тобой согласен, что если условия жизни будут невыносимы, то лучше бросить всё и искать себе что-нибудь более подходящее. Но только, Шурочка, я еще не вижу этих условий! Жить в атмосфере постоянного к себе недоверия и плохого обращения я бы тоже не стал ни минуты, но отдельные вспышки, как бы обидны они ни были, всё же еще не свидетельствуют об этом. В этот момент ты имеешь дело с людьми невменяемыми, неспособными критически отнестись ни к себе, ни к другим. Пройдет вспышка, успокоятся нервы, – и люди начинают понимать свою ошибку, стараются ее загладить.

Яркий этому пример Бор. Абр. Ведь ты не сомневаешься, что отношение его к тебе хорошее? А я, Шурочка, не сомневаюсь, в том, что отношение директора к тебе тоже хорошее по существу. Это неоднократно проскальзывало в его отзывах о тебе и твоей работе. И не говори, что тебе такого хорошего отношения не надо, если при нем возможно такое возмутительное обращение, такое явное недоверие. Ведь человек в этот момент невменяем. А люди бывают разные, приходится судить их неодинаковой меркой, приходится поневоле прощать им многое. Поэтому, Шурочка, не затаивай надолго эту обиду. Бог ему судья. Всё же он имеет так много хороших, положительных черт, что его идиотское самодурство, иной раз проявляющееся, можно пропустить мимо себя, не реагировать длительно.

Вот поэтому я и думаю, Шурочка, что тебе не следует уже раздумывать об оставлении Морозовской больницы. Поверь мне, Шурочка, что как только у меня появится уверенность в том, что отношение со стороны начальствующих и коллег к тебе по существу нехорошее, – я

---

[39] Директор и главный врач Морозовской больницы Николай Николаевич Алексеев (1856–1927) пользовался непререкаемым авторитетом среди врачей. В отношениях с подчиненными он был требователен и строг. Вероятно, впечатлительная Ал. Ив. пожаловалась в письме на какое-то резкое замечание директора.

[40] Борис Абрамович Эгиз, старший врач заразного отделения Морозовской больницы, в котором прежде работал Фр. Оск.

[41] Testimonium paupertatis *(лат.)* – свидетельство о бедности, в переносном смысле – о несостоятельности, недомыслии.

первый посоветую тебе отряхнуть прах с своих ног. Но пока, Шурочка, я уверен в обратном и поэтому прошу тебя, Шурочка, не придавай этой выходке слишком серьезного, принципиального значения. Я думаю, что ты еще вполне можешь работать в Морозовской больнице, не сгибая спины и не преклоняя колен перед начальством!

А что Влад. Алекс.[42] вел себя возмутительно, меня это не удивляет. <…> Но его ведь можно вполне игнорировать. Каков в данный момент Ник. Ник. [Алексеев], таков и он. Из-за всего не стоит себе расстраивать нервы. <…>

Был вчера у нас в канцелярии главный врач и принимал дела от Федора Александровича. Был он хотя и страшен, но и смешон. Очевидно, проштудировал перед отъездом из Петербурга все подходящие статьи закона, всё это у него в голове перепуталось, и поэтому, несмотря на сильное желание подать вид, что он всё знает и всё видит, получилось впечатление обратное. Зайцев узнал, что он по окончании сразу же получил место в медицинской канцелярии, и вообще человек с медициной общего весьма мало имеющий, – попросту карьерист. Сейчас его начальство посадило на это хорошее местечко, где он может выдвинуться, чтобы после войны занимать уже более высокие должности.

Зайцев находит, что так как он в медицине ничего не смыслит (он Зайцеву сам сказал, что он «не хирург»), то наше дело выиграно, что мы его при некоторой ловкости будем держать в руках. Зайцев нам советует взяться смело за хирургию и импонировать ему этим. Я после разговора с главным врачом также вынес впечатление, что не он будет мною командовать. Горячо советую товарищам держаться более независимого тона с ним и не давать ему возможности быть слишком о себе высокого мнения (боязнь начальства все-таки глубоко вкоренилась в русского человека!). Так что, Шурочка, ты не унывай, твой Ежка не даст себя согнуть в бараний рог и будет достоин своей Шурочки.

А я, Шурочка, должен прочесть тебе маленькую нотацию. Неужели ты думаешь, что я могу постепенно писать тебе всё реже и реже?! Ведь мне, Шурочка, обидно это читать! Больше ничего не скажу…

А, может быть, письма плохо доходят? Я как-то раз не писал два дня подряд, затем пять дней писал, а потом третьего дня опять пропустил день. Шурочка, мы ведь живем здесь втроем в одной тесной комнате, а почта от нас далека! Бывают иной раз условия, правда, весьма неблагоприятные для писания! Не будь так строга! Знай, Шурочка, что я всегда с тобой, даже если иной раз и пройдет день без письма!

Твой Ежка.*

Вчера мы не уехали, не уедем и сегодня – мы попали в последнюю очередь. Вчера отправились 6 госпиталей, между прочим и Алексей Афанасьевич. Сегодня отправятся еще 8 госпиталей, а мы, должно быть, завтра или самое позднее послезавтра. В Бар адресуй тоже пока «до востребования». Если не получу, то сообщу. От матери уже две недели нет известий! Письма не доходят?

Погода свежая, но ясная, изредка дождевые тучи. Были опять во фруктовом саду. Снимал, но еще не проявил. Были с Зайцевым.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 23-го августа 1914 г.

Дорогая Шурочка!

Сегодня, наконец, выяснилось, что мы непременно поедем не позже завтрашнего дня, может быть, даже сегодня ночью. Эшелон уже назначен, мы только еще не справились отно-

[42] Владимир Александрович Колли, старший врач заразного отделения Морозовской больницы.

сительно часа отъезда. Вечером всё будет известно. Пойду на почтамт, брошу это письмо и пошлю тебе и своим в Ригу телеграмму: «Едем Бар». Вчера и сегодня я от тебя писем не получал. Оставлю заявление, чтобы мне письма пересылалась в Бар «до востребования». Думаю, что мы там письма таким образом получим. Если необходимо адресовать «в действующую армию», то тотчас же уведомлю.

Наконец-то! Последние дни стало совсем нудно сидеть здесь без дела. Товарищи почти все уже уехали, дождь сегодня с утра, грязь непролазная. Холодно! Одно стекло в раме у нас выбито, и ветер ночью так и гуляет себе по нашим спинам. Некому согреть!

Вчера к вечеру получил письмо от Эдит. Оказывается, что Лени всё еще сидит в Париже. Дома получили от нее запоздавшие открытки, в которых она пишет, что madame, у которой она остановилась, очень любезна и предлагает ей жить у нее всё время войны, даже если у нее иссякнут средства, после войны-де отплатит. Всё это, конечно, очень хорошо, но ведь германцы уже подходят к Парижу, и мирное население оттуда бежит! Где она останется теперь? Эдит пишет, что мать сильно беспокоится, похудела, волнуется, а вообще чувствует себя очень скверно.

К тому же Карлушка поднес сюрприз: провалился на переэкзаменовке по математике. Родители потеряли голову и взяли его из гимназии! Я думаю, что это зря, и хочу сегодня писать и убеждать оставить его еще на один год в том же классе. Экий он лентяй! Теперь, говорит Эдит, он сам чувствует себя вполне уничтоженным, уж слишком он надеялся на свое обычное счастье!

Три старших брата и сама Эдит продолжают регулярно работать, но общий дух угнетенный. Лени место учительницы французского языка, которое ей было обещано весной, конечно, тоже потеряла! В общем, печально. Отрадного в письме Эдит ничего не нашел.

Господи, как много горя приносит эта война! Если вдуматься, то всё, о чем читаешь в газетах, не только то, что делается на «театре» военных действий, – сплошной ужас! Люди стали говорить совсем другим языком. То, что казалось нерушимым, разлетается в два дня. Все культурные устои – насмарку, повсюду одичание и озверение. Где же наша хваленая европейская культура? Какое взаимное ожесточение! Какая ненависть друг к другу, к людям, которые тебе никакого зла не сделали, которые случайно принадлежат к другой национальности! Мы, Шурочка, с тобой не поддадимся! Мы найдем в себе достаточно твердые устои, верно?!

Должно быть, все-таки еще необходимо человечеству от времени до времени такое кровопускание…

Прощай, моя дорогая, хорошая. Одна ты у меня!*

А относительно того, что мы читаем в газетах, Шурочка, мы всегда с тобой, не сговорившись, одного мнения. Например, Петроград. Я именно то же самое слово «убожество» хотел применить к этому сообщению[43]. Вообще, когда я что-нибудь здесь читаю, я живо ощущаю контакт с тобой – едина душа!

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 24-го августа 1914 г.

Шурочка! Я с тех пор, как уехал вторично из Москвы, только три дня не писал тебе. Писать тебе по возможности ежедневно – это для меня потребность и удовольствие, которого я не желал бы лишиться, а ты предполагаешь, что я жду твоих писем, как будто бы пишу тебе не совсем охотно?! Шурочка, мне больно это читать, не надо больше так писать. Если ты за день не получишь от меня письма, то, значит, одно из двух: либо почта неаккуратна, либо у меня

[43] По-видимому, сообщение 18 августа о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.

не было возможности писать тебе или послать тебе письмо. Хорошо, Шурочка? Ты больше не будешь?

Только что получил письмо от 21/VIII. Бедная Шурочка, ты всё еще не успокоилась. Несмотря на посторонние вещи, о которых ты рассказываешь, тон письма все-таки выдает тебя. Ты не можешь скрыть, хотя и стараешься. <…> Эх, Шурочка, посадить бы тебя сейчас рядом с собой, прислонить твою буйну голову к своему плечу и обнять бы тебя крепко, крепко и так посидеть бы некоторое время молча, – легче бы тебе стало, верно? Пожалуй, это будет действительнее, чем мое длинное письмо, в котором я старался на тебя подействовать успокаивающе всем имеющимся у меня арсеналом доводов разума и рассудка. Ничего, Шурочка, всё образуется, придет и наше время!

Я тебе вчера послал телеграмму: «Едем Бар», чтобы ты сюда больше не писала (как бы цензура не задержала телеграмму?). Однако мы ни вчера, ни сегодня не поехали, а тронемся только завтра. Несмотря на отданный приказ, несмотря на то что сегодня выезжает последняя партия госпиталей, наш главный не торопится. С трудом мы его сегодня уломали ехать завтра вечером.

Утром еще раз зайду на почту. Милая Шурочка, пиши мне, пожалуйста, в Бар сначала два письма по разному адресу одновременно: одно «до востребования», а другое «Действующая армия, 253 запасный полевой госпиталь, ординатору такому-то». Посмотрим, какое из них дойдет и что скорее.

Вчера были в бане, а потом сидели и пили чай у Зайцева. Много говорили о Мороз[овской] б[ольни]це, характере Ник. Ник. [Алексеева], Вл. Ал. [Колли], Бор. Абр. [Эгиза]. Мне очень интересно было слышать его мнение. Он очень интересный человек, удивительно свежий и бодрый, вечно юный. Он сам говорит, что его долго принимали за студента и отказывались верить тому, что он опытный врач. У него неиссякаемая энергия, удивительная простота обращения. Он может дурачиться как мальчик, и вместе чувствуется, что он человек много работающий и знающий. Чем больше я его узнаю, тем больше он мне нравится.

Его здесь упразднили, послали телеграмму в Москву, и он уже твердо рассчитывал, что поедет домой и поступит в Красный Крест. И вот сегодня оттуда телеграмма: Зайцев назначается временным главным врачом предполагаемых формироваться в Воронеже эвакуационных госпиталей. Одним словом, жди здесь у моря погоды. «Временным», «предполагаемых»!!! Бедный! А он так надеялся!*

Наш главный мне уже совсем не страшен. Это всё потуги казаться страшным. Меня он не съест. Я в нем вижу больше смешного.

Лошадиные деньги мы не получаем, слава Богу! Многие останутся с носом!

Ем ежедневно около 20 яблок, пожираю арбузы, пищеварение отменное. Столуемся вместе с сестрами дома. Стол сытный, хороший и дешевый. Долгов уплатил 85 рублей. Ай да я!

Дожди! Холодно! Изредка солнце, радуга.

Прощай! Дорогая, хорошая.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 25-го августа 1914 г.

(пишу ежедневно!)

Дорогая моя, милая, хорошая Шурочка (всё idem!). Только что сел писать тебе письмо, как приносят мне твое, с лепестками гвоздики. Ты спрашиваешь меня, доволен ли я тобой? Долгим поцелуем отвечаю тебе. А ты все-таки кое-чему у меня научилась, и я горжусь собою и тобой. Продолжай, Шурочка, в том же духе…

А я начинаю киснуть, и нервы начинают трепаться. Как видишь, я тебе опять пишу из Воронежа – мы не поедем и сегодня, быть может, и совсем не поедем отсюда… Мы стоим на

мертвой точке. На нее попал Зайцев, попали теперь и мы. Когда мы вечером вчетвером (Зайцев, Левитский, Никольский – зауряд-врач и я) пошли в белый дом (сборный пункт) узнать, нет ли к вечеру каких-нибудь новостей, то узнали, что только что получена из Москвы телеграмма: запасные госпитали, еще не уехавшие, задержать, немедленно развернуть – будут замещены формируемыми в Москве.

Нас как громом поразило, только Зайцев злорадствовал. Заведующий формированием сейчас же ответил в Москву, что только наш госпиталь в состоянии «развернуться», а другие, оставшиеся здесь, ждут медицинского и интендантского имущества. Так что мы еще не теряем надежды. Может быть, сегодня будет получена телеграмма: свернуться и отправляться! Начинается недостойная комедия: свернуться и развернуться!..

Вы там, в Москве работаете, здесь в Воронеже тоже уже работают частные земские и городские госпитали. А мы: свернуться, развернуться! С тем ли мы приехали сюда? Того ли ждали? Сидеть всё время войны в Воронеже, в жалком (сравнительно с земскими), плохо оборудованном госпитале, далеко от войны! Даже меня начинает разбирать что-то нехорошее! Главный доволен, смеется – трусит ехать на войну. Левитский после первого испуга быстро успокоился. Он выпишет жену и детей, будет недурно. Никольский недоволен, ведь жалованье мы здесь будем получать по-мирному, 120 р., а он рассчитывал на все 150 р.

Сплюнуть хочется! Вот уже целый месяц мы живем здесь в грязи, спим на полу, нюхаем противную махорку, зябнем; вещи все раскиданы, нет элементарного приличия. Если всё это где-нибудь хотя бы в тылу армии, на месте живой нужной работы, то с восторгом мирился бы со всеми неудобствами, но для того, чтобы «свернуться и развернуться», – слуга покорный. Общественные учреждения давно сформировали всё нужное, а мы никак не можем получить ни медицинских предметов, ни еще чего-нибудь. Позор!

Зато как у нас канцелярия поставлена! Сколько бумаги уже ушло, сколько толстых прошнурованных книг исписано! Работа кипит там с утра до вечера! Четыре писца скрипят перьями и пишут, пишут, пишут, а мы просрачиваем, просрачиваем, просрачиваем[44]. Великие события идут мимо нас, мы запоздалые зрители, через головы других стремящиеся кое-что увидеть из того, что творится там, на «театре» военных действий! Эх!..

Сегодня будем выжидать. Если не будет отмены, то придется устраиваться здесь. Переедем в Воронеж, где нам отведут, должно быть, под госпиталь и квартиры гостиницу «Франция». Единственный плюс, что будешь жить в приличной обстановке. Но стоило ли для этого из Москвы переезжать в Воронеж, от неизмеримо лучшего к худшему!?

Французским языком, Шурочка, я последнюю неделю не мог заниматься, не до того было, не было достаточного спокойствия. Нет ничего более деморализующего, как неизвестность!

А сегодня, после последних дождей, как раз чудесная погода: небо синее, тучки пышные белые, солнце яркое, даже как будто бы теплее стало.

А здесь на вокзале какой-то серый мужик ударил высунувшего голову из окна вагона пленного австрийского офицера! А проезжавшие пленные германские офицеры не отдавали честь коменданту станции, за что переведены из II в III класс! Какое общее огрубение нравов, какая дикость!

Как симпатична сегодняшняя перепечатка из английского журнала (№ 194 «Русск[их] ведомостей]») «Цели войны»![45] Насколько выше все-таки культура у англичан! И как недоказательна и бледна статья А. Толстого «Париж»! Почему Макс Вук, немецкий буржуй, должен непременно превратиться в дикого зверя, а французский буржуй, сняв маску, оказывается героем?! Где же тут справедливость, где психология и логика?!

---

[44] Излюбленное словечко Фр. Оск., позаимствованное из судебной речи А. Ф. Кони.

[45] В английской прессе рассматривался вопрос о территориальных притязаниях стран-участниц войны. При этом отдавалось должное немцам как великой нации и признавалась необходимость сохранения силы Германской империи.

А верно, Шурочка, чудно! Ведь ты мне гвоздики прислала, когда еще не получила моего дубового листка? Какое знаменательное совпадение! Мы думаем об одном и том же!*

Обо мне, Шурочка, из-за тона этого письма не заботься! Это так, рассуждения и только! Бодрость меня не покинет! Не сумлевайся!

А мы вчера вечером после телеграммы вчетвером пошли в «Бристоль» и выпили с горя! Осетрина холодн[ая], кофе, белое вино, банан.

Очень хорош и IV том писем Чехова, в особенности серьезные письма к Суворину и легкие, непринужденные и веселые – к Мизиновой. Какой легкий стиль! Какая свобода духа и широта кругозора!

Духи, присланные тебе, принимай![46] От чистого сердца! Это не взятка!

Прощай, моя единственная.

Твой Ежка.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 26-го августа 1914 г.

Дорогая Шурочка!

Теперь, должно быть, пройдет несколько дней без письма от тебя. Ты, наверно, уже пишешь в Бар. Я написал сегодня открытку Алекс. Аф. [Морозову], чтобы он там зашел на почту и достал бы письма, если только цензура их пропустила. Я думаю все-таки, Шурочка, что лучше не писать «до востребования», а лучше «Действующая армия, 253 госп[италь]», конечно только тогда, когда мы отсюда уедем. Сюда пиши как раньше.

Не послал я тебе вчера телеграммы, что наш отъезд отменен, потому что мы каждый момент можем получить обратный приказ. Оказывается, что нас здесь осталось не 4, а 6 госпиталей, причем возможно, что в Москве предполагали, что нас здесь уже нет. Сегодня из Москвы снова запрос, какие №№ находятся здесь. Очень возможно, что мы завтра все-таки выступим, только не в Бар, где мы уже не нужны, а к самой австрийской границе или даже в Австрию. Есть указания и на это!

А пока мы сегодня у городской управы требуем помещение в городе для госпиталя, и, если не будет отмены, то завтра или послезавтра развернемся здесь. Как только окончательно выяснится, что мы едем, я тебе пошлю телеграмму: «Едем действующую армию». Туда и адресуй, а пока пиши мне сюда, как раньше. Я попрошу Зайцева переслать мне те письма, которые меня здесь не застанут.

Главный мне ликующе сообщил, что имеется приятная новость. Я думал, что нам ехать. Нет, Боже сохрани, нам прибавили какие-то продовольственные деньги! Около этого вопроса всё вертится, и это больше всего захватывает! На сегодня он мне дал поручение: во-первых, проверить знание ротных фельдшеров; [во-вторых,] выбрать из команды подходящих санитаров и обучить их, и, в-третьих, вразумить всю команду, чтобы не пила сырой воды и не жрала (pardon) сырых зеленых фруктов. Сегодня у одного объявился кровавый понос. После обеда мы с Левитским этим и займемся. Сегодня тепло, ясно, солнышко даже греет.

Читала официальное сообщение о жестокостях германского населения по отношению к русским? Целый ряд проверенных фактов! Как гнусна везде бывает толпа! Плевки в лицо, удары палками беззащитных людей! Какая гнусность!

---

[46] Вероятно, подарок в благодарность за лечение. В этом отношении Ал. Ив. была очень щепетильна. Например, в письме 6 июля 1915 г. она рассказывала, как по просьбе коллеги ездила в Орехово-Зуево лечить заболевшего ребенка: «Выехала я с поездом в 4:40 дня, была там в 7:20. Через час уже ехала назад и прибыла сюда, в комнату, в 11:30 ночи. Хорошо еще, что было нежарко. Туда ехала – читала газету, оттуда же пришлось дремать, так как при свете огарка читать невозможно. Чтение и дремание прерывались думами о тебе. Предлагали деньги, но я взяла только на дорогу».

Впрочем, я убежден, что не везде толпа бывает таковой. Ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Финляндии это невозможно. И знаешь, Шурочка, почему главным образом там культура более достойная? Потому что почти совершенно запрещен алкоголь! Нет этого разъедающего и деморализирующего его воздействия! И если, Шурочка, у нас последствием войны будет полное его запрещение, то война для России будет великое благо, с избытком искупающее всё настоящее горе!

Как ты думаешь, Шурочка? Ведь и туберкулез, и сифилис тогда не будут уже так страшны, не будет почвы! Появится бодрость и сила северных народов. Тогда только мы будем истинно великим народом! Для меня все-таки Скандинавия во многом образец. И наша, и западная культура во многом все-таки гнила!

Ничего, Шурочка, что я так элементарно наивно пишу?

Твой Ежик*.

Загар с острова Нагу всё еще на мне держится в тех же резко очерченных пределах!

Наш главный (между прочим, его зовут Петром Петровичем) изрек следующую мудрость: «Знаете ли, хорошо бы обратить внимание команды на то, чтобы они не пили сырого молока, а то, знаете ли, еще у нас разовьется *скарлатина*!». При чем тут скарлатина!? У солдат!?

Привет Вере Михайловне![47]

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 27-го августа 1914 г.

Дорогой Шурок!

Наше положение становится всё глупее и глупее. Вчера наш главный поехал с заведующим формированием в город подыскивать нам помещение. Приехали в городскую управу, а там от городского головы ответ: мы этим теперь не заведуем, обратитесь в губернскую управу. Поехали туда, ответ: мы перестали этим заведовать, обратитесь в земскую управу. Там ответ: обратитесь в эвакуационный комитет, мы ему передали эти функции. А этот пресловутый эвакуационный комитет состоит из одного капитана и одного поручика, которые, кроме своего назначения на эту должность, не получили ни сведений, ни средств, ни полномочий.

Они должны были бы направлять раненых в пресловутый «предполагаемый эвакуационный госпиталь», одним из главных врачей которого уже назначен Фед. Ал. [Зайцев]. Но его нет, он даже не начал еще формироваться. Вообще о нем сведений никаких, ведь он только «предполагается»! И вот эти два бедных офицера направляют всех в городской и земский комитеты, которые тоже снабжены всем недостаточно, а раненым офицерам дается совет устроиться у родных и знакомых. Беспорядок и неразбериха отчаянные! Пока всё еще сидим и будем сидеть в Троицкой слободе.

А писем от тебя я, должно быть, не получу теперь около недели! Телеграфировать уже не стоит. Боюсь, что письма, адресованные в Бар, ко мне уж не дойдут. Приходится, к сожалению, с этим считаться. Всё же я вчера на всякий случай написал Алекс. Афан-чу.

Зайцев передает со слов раненых офицеров, что отношение полковых врачей на поле битвы безукоризненное, полное самопожертвование, но чем дальше вглубь России, тем хуже отношение. Врачи всюду занимались только флиртом с сестрами милосердия. Они возмущены до глубины души.

А здесь им дают совет ехать домой! В дороге их, раненых и больных, уже в России, иной раз сутки не кормили, и им приходилось просить у сопровождавших их солдат уделить им щей и хлеба! К станциям их не подвозили, а оставляли где-нибудь на стрелке. Зато плен-

[47] В. М. Овчинникова, врач-ассистент Морозовской больницы, подруга Ал. Ив.

ные австрийцы всегда подвозились к станциям, где их щедро наделяли всевозможными припасами. В особенности местные дамы отличались своей любезностью по отношению к пленным – прямо противно, – а своих забывали. Даже тут на первом плане видимость для заграницы! Ну их!

Гуляли мы вчера за городом в парке Общества садоводства и лесоводства. Чудесные осенние пейзажи, свежий ветер. Желтые и красные листья шуршат, когда ходишь. Почему тебя нет со мной? Поднялись выше в большой фруктовый сад. Видели, как добывался яблочный сок, как готовили пастилу и цукаты. Как вкусно пахло! Купили пастилы и заказали яблок и груш. Сегодня послали солдат. Принесли нам громадный мешок – три меры чудесных фруктов. Мера[48] – 80 коп. В комнате, пока пишу, сильно пахнет свежими яблоками и грушами! Осенний бодрый запах!

Шурочка, хочу к тебе. Почему нельзя? Так глупо, глупо!

Прощай, дорогая.

Твой Е.*

Погода чудесная! Стало опять тепло.

Сегодня опять начну заниматься французским языком.

Муху нас видимо-невидимо. Чехов в своих письмах утверждает, что они воздух очищают, но у нас этого что-то не видно. Спать не дают, черти.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 29-го августа 1914 г.

(Вчера не писал)

Шурочка! Хочу к тебе! Не хочу больше здесь сидеть праздно и без моей Шурочки! Хочу с тобой сидеть, говорить, читать; хочу тебя видеть, осязать; хочу тебя целовать и обнимать! Вот итог целого года!

Ведь скоро, 2-го сентября, будет год, как мы с тобой гуляли в Петровском-Разумовском![49] Как наша кривая? Благополучно поднимается, не правда ли? Лишний вопрос.

Да, Шурочка, вот уже год прошел, и пусть будет еще много таких годов! Все-таки хороший был год, единственный. Все-таки, как говорит Елизавета Адриановна[50], будет чем молодость свою вспоминать. А к тебе, Шурочка, мне последние дни что-то очень уж хочется, тянет. Люди кругом меня стали мне более или менее известны, особенно хорошего я в них не нашел. Есть черты в моих глазах отрицательные, неприятные (лошадиные деньги etc.). Положительного, хорошего, я чувствую, они мне не дадут или дадут мало. Духовной или душевной близости у меня с ними нет и не будет. И вот, как результат, особенно сильно тянет к Шурочке, моей единственной Шурочке, с которой у меня и духовная, и душевная, и телесная близость, даже больше – слияние! Хочу к тебе, Шурочка! Хочу опять слиться с тобой совсем, совсем, совсем!

И странно кажется, что бывали изредка моменты, когда не было этого полного слияния, когда между нами как будто открывался ров, через который не было мостика? Верно, странно? И верно, Шурочка, у нас этого больше уж не будет? Пускай не будет! Ведь мы с тобой муж и жена! Ух ты, моя женочка…

А у нас луч надежды, что мы все-таки отправимся отсюда, и скоро отправимся. Дело в том, что четырем госпиталям здесь прислано всё недостающее интендантское имущество. Мы

[48] мера = 1 четверик (4 пуда или 26,2387 л), 1 пуд = 16,38 кг.

[49] 2 сентября 1913 г. состоялось взаимное признание влюбленных. Этот день стал для них ежегодным семейным праздником.

[50] Е. А. Сионицкая, врач-ассистент Морозовской больницы.

готовы и снова сегодня посылаем телеграмму в Москву с извещением об этом. А так как мы здесь не развернулись и нового приказания об этом не получали, то мы весьма сильно надеемся, что завтра будет получен ответ с приказанием уехать отсюда на театр военных действий. Здесь кто-то из назначенных по плану в Гомель получил новый приказ поехать прямо к границе Австрии. Мы тоже надеемся, что нас отправят сразу дальше (т. е. наш главный этого боится!). А пока всё – idem.

Вчера был в городе, проявлял [фотопластинки, сделал несколько покупок. Затем Федор Алекс, потащил в баню, а вечером засадили меня за пульку. Сел я, поверь, без всякой охоты, результат обычный. Впрочем, не думай, что мы часто играем, после приезда из Москвы первый раз.

Сегодня утром был на вокзале и закупил ряд книг: два тома сборников «Фиорды»[51], три тома Бунина и один том Чирикова[52]. Чехова кончаю, пришлю на днях.

А я без твоих писем уже пять дней. Только бы они не затерялись, хоть поздно, но дошли бы до меня! Я сильно боюсь, что они застрянут в Баре, а, может быть, и туда не дойдут. Ты, Шурочка, непременно, когда отсюда уеду, пиши в действующую армию и на оборотной стороне отметь свой адрес. Если не найдут, то вернут тебе. Прощай, моя единственная Шурочка. Моя хорошая, прощай!

2-го сентября пусть будет у нас праздник*.

Опять холодно, хотя ясно. Главного почти не вижу, не хожу в канцелярию. За полторы недели видел раза три.

Масса яблок и груш. 100 помидор – 11 коп. <…>

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 30-го августа 1919.

Дорогая Шурочка.

Все-таки пока остаемся в Воронеже. Только что получена телеграмма из Москвы с приказанием немедленно здесь развернуться четырем запасным госпиталям, в том числе и нашему. Очевидно, нас здесь задержат вплоть до формирования предполагаемых эвакуационных госпиталей! Завтра утром энергично будем себе искать помещение, должно быть, «Францию», а к вечеру начнем перебираться. Если не завтра, то уж непременно послезавтра, на этот раз серьезно. Итак, суждены нам благие порывы! По крайней мере, хоть мать останется довольна, что я вне опасности. Она так надеялась, что я останусь в Воронеже.

Неужели здесь моя работа более нужна, чем была бы в Морозовской больнице!? Как это всё нелепо.

Милая Шурочка, сюрпризом для меня было твое письмо, которое я не ожидал получить так рано. А ты уже четыре письма отправила в Бар? Где же ты успела написать? Бедный я, неужели они затеряются? Напишу еще раз Ал. Аф-чу.

Шурочка, что значит твоя таинственная фраза о том, что мы, может быть, скоро увидимся? Шурочка, что мне это очень, очень хочется, в этом и ты не сомневаешься, но ради Бога не предпринимай никаких поспешных шагов, не посоветовавшись со мной. Прошу тебя, Шурочка. Не надо ради, быть может, мимолетного настоящего расстроить долгое будущее! Возможно, что я тебя неверно понял, но в таком случае не пиши так таинственно с многоточием. Вот как кончим стаж в Морозовской больнице, тогда, Шурочка, нас уже не разлучить так легко, верно? Придет и наше время.

---

[51] Фиорды. Датские, норвежские, шведские писатели в переводах А. и П. Ганзен. Сб. 1–2. СПб., 1909; 2-е изд. – 1910.

[52] *Чириков Е. Н.* Собр. соч.: В 17 т. М., 1910–1916.

Пишу тебе вечером. Ждем выяснения нашего положения, телеграммы. А сейчас кругом меня сидят, разговаривают, мешают. Болит голова от жирного обеда (прости натурализм). Вот видишь, как мы здесь живем. Во «Франции», должно быть, дадут отдельную комнату. Дай Бог!

Вчера вечером наши от нечего делать опять были в городе, в «Бристоле», ели, пили. Я категорически отказался и в 9 часов лег спать. Вот какое примерное поведение! Сегодня кончил IV том Чехова, занимался печатанием фотографий, завтра пришлю.

Очень доволен, что в «Русских ведомостях» опять стал печататься Гроссман, живший в Берлине и оттуда писавший[53]. Он много лет жил в Германии, знает ее хорошо и будет писать беспристрастно. Но какое и там озлобление – те факты, на которые указывает Кизеветтер[54], конечно, нелепы (не переводить вражеских авторов, сложение ученых званий), но все-таки язык его чересчур резок. Если вдуматься в психологию германцев, привыкших видеть свое отечество великим и видящих неминуемую гибель его не от большей доблести врага, а от его подавляющей численности, от того, что все соединились против двух (даже японцы пользуются!), – то становятся немного понятными и эти нелепости. Каково настроение там, в Германии, об этом дает некоторое понятие последняя телеграмма, хотя и краткая, Гроссмана от 29/VIII[55].

Много нелепостей и дикостей совершается сейчас со всех сторон, такова уж поганая психология войны. К протесту же врачей, если только он будет обоснован фактами, я присоединяюсь горячо! Врач обязан быть прежде всего врачом!..

Воронеж, 31-го августа 1914 г.

Вчера вечером, Шурочка, когда я писал письмо, я никак не ожидал, что пошлю его с оказией. Только что я запечатал и наклеил марку, как входит Фед. Алекс, и сообщает, что сейчас же едет в Москву, не будет ли каких поручений. Вот я ему и отдал письмо вместе с томом Чехова. Завтра всё уже должно быть в твоих руках.

А наш главный – это полное ничтожество. Получил он вместе с другими главными врачами вчера приказ от заведующего формированием подыскать помещение для госпиталя, непременно сегодня утром. Он выражал полное усердие и готовность. А сегодня пришел сюда в канцелярию в 11 часов. Мы думали, что он нам сообщит, куда ехать. Ничуть не бывало. Здесь он заявляет, что это не его дело искать помещение для госпиталя. Это, дескать, дело заведующего формированием!

А между тем другой главный врач утром уже занял лучшее помещение – гостиницу «Франция». За что нас Господь наказал таким болваном! А ведь он считает, что он работает: каждый день он сидит в канцелярии и в двадцатый раз переписывает старые приказы. Перепишет, не понравится что-нибудь, снова зачеркнет и т. д. до бесконечности. Даже по канцелярской части он глуп. Левитский говорит, что самых простых счетов он не сразу понимает, соображает плохо – прямо беда. Я к нему в канцелярию не хожу, вижу его случайно и редко, от греха подальше. А на сборном пункте он кричит назойливо громче всех, либеральничает, проходится на счет начальства, острит глупо – одним словом, полное ничтожество.

Выберемся ли мы когда-нибудь из Троицкого при этом милом человеке? Кто его знает. Перестаешь верить. Кажется, что вот еще долго так будет проходить один день за другим без дела, когда дела много, когда работа не ждет. Эх, Шурочка! Нехорошо!

---

[53] Сотрудник корпункта «Русских ведомостей» в Берлине Г. А. Гроссман перебрался в Копенгаген, откуда возобновил свои телеграфные сообщения.

[54] Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, публицист, видный деятель кадетской партии.

[55] Г. А. Гроссман сообщал, что агрессивный тон в немецкой прессе и в ученых обществах начал уступать место оборонительному.

А послезавтра будет год… Как бы мне этот день достойней провести? Целый день буду думать о Шурочке, о том, как хорошо мы с ней устроимся потом, как мы с ней всё будем делать вместе, вместе работать и вместе отдыхать… Это будет, будет, Шурочка! Ты веришь?

А я, если можно будет, пойду после обеда гулять один куда-нибудь за горку, где нет людей, и буду вспоминать!.. <…>

Борису Абрамовичу [Эгизу]я не пишу, потому что хочется ему сообщить что-нибудь положительное, о нашей работе, а между тем мы здесь ничего не делаем, совестно даже писать «с войны». Передай ему, пожалуйста, мой привет и объясни мое молчание: совестно, дескать.

У нас опять лето, стало тепло, сухо, солнце. Природа ликует, и не вяжется это совсем с теми вестями, которые идут с театра войны: там разрушение, ужас, смерть… Когда читаешь цифры, то не страшно, но рассказы очевидцев по своей простоте и непосредственности весьма убедительны. И французы, и наши наступают. Может быть, к Рождеству конец? Какое бы счастье!

Воронеж, 1-го сентября 1914 г.

Шурочка, я тоже начинаю понимать настроение Вильяма. Я тоже чувствую себя в положении человека, стоящего в грязной луже и обливаемого усердно густой грязью[56].

Передо мной лежит воскресный номер «Русских ведомостей». Я его внимательно прочел. Ряд статей, в которых громко говорится о культуре, прогрессе, человечестве… Первое впечатление как будто бы ничего: в передовице говорится, что мы воюем только с милитаризмом и шовинизмом и что мы хотим победить только для того, чтобы водворить в Европе прочный мир и обеспечить господство начал права и свободы!

Кизеветтер мямлит что-то: вера в человечество есть наша духовная опора при всех разочарованиях в его отдельных представителях. Письмо в редакцию Фатова[57] доказывает (очевидно, необходимо это доказывать!), что нет искусства, нет науки врагов, а есть наука и искусство единого культурного человечества. Плетнев[58] тоже доказывает, что немецкие фармацевтические препараты бойкотировать не следует (и это надо доказывать!). Всё как будто обстоит благополучно. А если разобраться подробней?

Это из передовицы: <*вклеена вырезка*> «…[германской культуре, – национальное самодовольство, национальную исключительность, узость, стремление к всемирной гегемонии и презрение к праву».

Эти четыре вырезки – статья Игнатова[59]: «…все усилия ума, все успехи науки, всю энергию национальной воли Германия в течение многих лет стремилась перелить в чудовищную пушку, в блиндированный автомобиль с пулеметами, рассылающими смерть, в бомбу, могущую разрушить драгоценности искусства, все мирные приобретения цивилизации», «*…простая встреча и мирная беседа* с немцем казалась *изменой* родине»*. «Но представить себе опять высокомерного юнкера на улицах Парижа, видеть торжество прусской солдатчины, прусского духа было невыносимо: это было бы новое *оскорбление человечества*, новый вызов чело-

[56] Фр. Оск. обостренно воспринимал всё, что публиковалось в русской печати того времени о немцах. Стараясь подбодрить жениха, Ал. Ив. отвечала в письме 4 сентября: «Я согласна, милый, что газеты теперь вызывают одну горечь, одно страданье, но ты, – слышишь, Ежик, – ты не должен чувствовать себя как Вильям. Все, кто тебя знает и узнает еще, будут относиться [к тебе] всегда хорошо, и я всегда, всегда душой с тобой. А как бы я крепко прижалась к тебе сейчас! Почему нельзя? Зачем эти ограничения кругом? Не могу я больше жить так!»

[57] Фатов Николай Николаевич (1887–1963), публицист, литературовед, впоследствии профессор.

[58] Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871–1941), доктор медицины, профессор Высших женских курсов в Москве и позднее – 1-го МГУ, публицист, кадет, выдающийся врач-терапевт, один из основоположников отечественной кардиологии и организаторов советской медицины, был репрессирован как троцкист, в 1938 г. приговорен к 25 годам заключения, позднее расстрелян.

[59] Игнатов Илья Николаевич (1856–1921), литератор, многолетний сотрудник «Русских ведомостей».

вечности». «Дух насилия, распространяемый и *поддерживаемый Германией, был оскорблением для всего человечества*»[60].

Это из Кизеветтера: <*вырезки*> «…ввиду разочарования теми передовыми элементами немецкой интеллигенции, которые почитались светочами культуры». «Взрезали нарыв, и вышел гной. И пусть он выходит».[61]

Это Д. Плетнев: <*вырезка*> «Среди общества появляется вполне законное желание бойкота немецких товаров»[62].

Письмо в редакцию Фатова: <*вырезка*> «Там совершаются дела, о которых, казалось, человечество давно забыло: там *новые гунны* разрушили Лувен, там новый Омар уничтожил ценнейшую библиотеку, там сокровища Лувра прячутся в стальные ящики [и закапываются в землю]»[63].

Это из беседы с товарищем министра Таубе[64]: <*вырезки*> «…над этим *возмущением всего цивилизованного мира* против германской вакханалии вооруженного насилия». *«Надругательством* над мирным населением, *попранием* права частной собственности, разрушением без всякой военной надобности памятников культуры и другими грубейшими нарушениями общепризнанного права современной войны, – всеми этими *варварствами Германия поставила себя вне группы цивилизованных стран.* Сравнивая, например, *вандализм* Германии…»[65]

А вот в просвещенной газете сообщение, рассчитанное на глупейшее невежество: <*вырезка*> «Лондон, 30-го августа. “Daily News” печатает рассказ сестры милосердия американского Красного Креста, захваченной в плен германцами в Брюсселе вместе с бельгийским госпиталем и впоследствии отпущенной на свободу. Сестра сообщает, что видела, как в бельгийской деревне пьяные германцы, собрав приблизительно 35 бельгийских детей, развлекались подбрасыванием их на штыки»[66]. Если к этому прибавить вчерашнее сообщение, что германцы отравляли колодцы, то мы недалеко будем от психологии холерных бунтов!

Итак, с одной стороны, красивые слова: культура, прогресс, человечество. С другой стороны, приписывание немцам всего плохого, гнусного, вплоть до явно нелепого; полное нежелание и неумение вдуматься в психологию неприятеля, который знает, что он борется за свое существование против в десять раз более сильного врага. И в-третьих, у себя дома приходится доказывать, что немецкие пьесы ставить можно, что можно изучать даже немецкую науку и покупать немецкие фармацевтические препараты, и что даже принадлежность к еванг[елическо]-реформ[атскому] вероисповеданию еще не делает человека неспособным к подаче помощи раненым (см. письмо в редакцию в том же воскресном номере[67]). Не поздоровится от этакой защиты! Какое презрение, какая ненависть!

Я начинаю верить, что мы, русские подданные немецкой национальности, скоро в России очутимся в положении затравленных. Ведь писала же жена Зайцева, что она видела, как в Москве в трамвае некий тип избил двух немцев за то, что они громко разговаривали на родном языке!

А читай в списках убитых и раненых, – как много там немецких имен и фамилий! Да, нехорошо, Шурочка! Выходит так, что мы сейчас являемся какими-то париями человеческого рода, от которых надо сторониться, на которых указывают детям: не будьте такими, как они!

---

[60] *Игнатов И.* Франция и пруссаки // Русские ведомости. 1914. 31 авг., № 200. С. 2–3.

[61] *Кизеветтер А.* Борьба за культуру // Там же. С. 3.

[62] *Плетнев Д.* Насущный вопрос // Там же. С. 7.

[63] *Фатов И.* Искусство врагов (письмо в редакцию) // Там же.

[64] Таубе Михаил Александрович (1868–1962), министр народного просвещения, профессор, юрист.

[65] Хроника. Бар[он] Таубе о германских насилиях // Русские ведомости. 1914. 31 авг., № 200. С. 5.

[66] Западный театр войны. Немецкие жестокости // Там же. С. 4.

[67] В письме в редакцию сотрудник питательного пункта для раненых на Курском вокзале в Москве пожаловался, что его попросили покинуть пункт из-за его «немецкого» вероисповедания (Там же. С. 7).

В частности, относительно поступка Геккеля[68] и других ученых[69]. Шурочка, я хорошо знаю биографию Геккеля: нет пятна на жизни его. Он ученик Дарвина, всегда горячо ратовавший в Германии за английскую науку; человек, чуждый всякого национального обособления, тем паче шовинизма, всю свою долгую жизнь боровшийся со всякой реакцией, всякой рутиной; непримиримый враг прусского юнкерства и милитаризма, не раз пострадавший за прямоту своих суждений! И это знал Кизеветтер! И если такой человек отказывается от своих иностранных ученых степеней, то нельзя это назвать просто мелким шовинизмом и выставить его у позорного столба. Надо вдуматься в его психологию, надо стараться разобрать, какой душевный переворот мог его заставить решиться на такой поступок. Но Кизеветтер сознательно этого не сделал. Он просто обрушился с бранью и язвительной иронией на седую голову, такого отношения не заслужившую…[70]

Шурочка, только что получил твое письмо от 29/VIII. Ты говоришь, что волна человеконенавистничества как будто отхлынула? Нет, Шурочка, она не отхлынула, наоборот, она медленно захватывает и наши передовые интеллигентные круги, она разливается повсюду и потому менее резко выделяется на общем фоне. Люди сами не замечают, как они постепенно отравляются тем ядом, который широко разлит по всем газетным столбцам и оттуда проникает в массы. Атмосфера сгущается, и надо быть сильным и бодрым, чтобы не дать себя отравить удушливыми миазмами.

Прости несколько лирические выражения, но, правда, они невольно срываются. Тяжело стало жить. Шурочка, ты даже не подозреваешь, какая это поддержка, знать, что есть такой человек, который тебя всегда, всегда поймет**.

Пиши, получаешь ли ты, хотя бы с опозданием, все мои письма? Я твои получаю обычно через день и всегда тебе об этом сообщаю.

* Выделенные в цитатах курсивом слова подчеркнуты Фр. Оск.

** Далее приписка на полях письма.

Воронеж, 2-го сентября 1914 г.

С праздником, Шурочка дорогая моя! С первым нашим юбилеем! Первая годовщина первого поцелуя и первых ласк! Год прошел, и что же? Итог?

Кривая наша продолжает расти и не видать конца ее росту. Много сомнений, бывших вначале, рассеялись; много смутного, туманного стало ясным. Мы, Шурочка, с тобой идем вперед, и нам не страшно оглядываться на пройденный путь. Наоборот, мы в нем почерпнем уверенности в бодрости для будущего, нам еще предстоящего. Будем верить, что дальше будет лучше, будет ясность, будет бодрость, будет вера без сомнений! И с благодарностью будем вспоминать о прошедшем, о всем том хорошем, что дал нам истекший наш первый совместно прожитый год. А хорошего было много!

Стоит ли вспоминать о теневых сторонах, ничтожных в сравнении с тем большим новым, богатым, что внес в нашу жизнь этот год? Об этом не надо вспоминать, это должно стушеваться. Радость, вот основное настроение, которое испытываешь! Верно, Шурочка?

---

[68] Геккель Эрнст (1834–1919), крупнейший немецкий естествоиспытатель и философ.

[69] Имеется в виду оправдание ими немецкой агрессии и отказ от ученых степеней воюющих с Германией держав.

[70] Автор статьи выражал изумление поступком «духовных вождей современной Германии», среди которых оказался сам Геккель. «Мы говорим всё это не с чувством злорадства над нашими врагами, а с чувством негодующей обиды за ту культуру, в сокровищницу которой Германия былых времен внесла такие обильные вклады. Что же однако всё это означает? Ведь люди, предводительствуемые Геккелем, не могут быть глупыми людьми. Я вижу в этом проявление одного общего закона морали. Когда умные люди начинают в защиту какого-либо дела говорить глупые речи, – это всегда служит лучшим признаком безнравственности защищаемого ими дела», – писал А. А. Кизеветтер в статье «“Изумительное” решение» (Русские ведомости. 1914. 28 авг., № 197. С. 2).

А я с утра решил праздновать. Надел всё чистое, побрился и стал гладким, как огурчик. Днем чувствовал себя именинником, но никто этого не заметил. А когда в 11 час. утра пришла твоя телеграмма, то я вздрогнул и почувствовал уже полный контакт с тобой[71]. Спасибо тебе, Шурочка, большое спасибо. А тебе, Шура, прислали рано утром цветы (красные розы и гвоздики) от Райбле?[72] Ведь я тоже хотел, чтобы ты непосредственно ощущала контакт со мной, чтобы была как бы непосредственная близость, видимая и осязаемая!

После обеда я тотчас же один пошел гулять, захвативши все написанные моей Шурочкой мне письма. Как хороша сейчас природа: в поле ни души, виден ясный далекий горизонт, свежий бодрящий ветер треплет тебя, воздух чистый, ароматный. А лесочек в лощинке? На темном зеленом фоне уже много светло-желтых и буро-красных деревьев, под ногами шуршат сухие листья… Так хорошо!

Прилег я на травке, вытащил пакет писем и перечитал их все с начала до конца. Какая смена настроений у моей Шурочки! Как она, бедная, мечется, сомневается, страдает! Но всё же, Шурочка, характер последних твоих писем уже другой, всё реже встречаются нотки отчаяния, малодушия. Они изредка еще проскальзывают, но общий тон писем уже иной, чем вначале. Тоска и маловерие уже не застилают совсем взора, всё чаще и чаще звуки бодрые. Ты несколько раз обещаешь стать другой, совсем другой.

Ты меня спрашиваешь, доволен ли я тобой? О, Шурочка! Как же мне не радоваться, что дух твой становится бодрей, спокойней, что ты начинаешь с большей верой и надеждой смотреть на будущее?[73] Какой это будет праздник, когда совсем исчезнет складочка на твоем лбу, а взор твой будет ясен и жизнерадостен!.. Это будет, будет. Я в это верю!

Почитавши письма, я долго еще стоял в поле и любовался вечерним небом – нежные бледные цвета тихого осеннего заката. Так напоминало закаты на острове Нагу, те счастливые беззаботные, столь далекие сейчас дни!

А знаешь, Шурочка, если бы ты тогда в Петровском-Разумовском, спрыгивая с забора, более удачно попала бы в мои раскрытые объятия, как я это ожидал, то еще там, в пустынном освещенном луной саду, запечатлена была бы наша встреча горячим поцелуем!..

Дорогая, дорогая моя Шурочка, прощай!

Твой Ежик.

Воронеж, 3-го сентября 1914 г.

Шурочка, третий день нет от тебя письма. А почта последнее время была аккуратна. Как бы письма не затерялись! Из Риги тоже давно уже нет известий. Что делает Лени в Париже?

У нас – idem. Значит, «Францию» мы прозевали, а с тех пор, кроме разговоров, ничего. Послали наши старшие врачи телеграмму в Москву с запросом, как быть. Помещения, дескать, в Воронеже не отводят. Вчера оттуда получен ответ: подождать, пока не будет запрошен Петербург. Вот и ждем. Мы привыкли ждать, это наша обязанность в эту войну, обязанность нелегкая. А во «Францию» вчера уже доставили 250 раненых. Там работают, а мы всё просрачиваем… Сказка про белого бычка.

Вернулся вчера вечером Зайцев из Москвы. Вести от него тоже малоутешительные: канцелярщина, бумагопроизводство. С одной стороны, на одного врача приходится 300 раненых

---

[71] Телеграмма, отправленная Ал. Ив. доктору Краузе, сохранилась: «С тобой в годовщину дорогих воспоминаний».

[72] Цветы, заказанные Фр. Оск. в известном московском цветочном магазине Г. А. Райбле на Мясницкой ул., д. 24, Ал. Ив. получила. В этот день она написала жениху: «Красные душистые розы – твои розы – стоят у меня на столе. <…> Хороший, красивый, единственный был день год тому назад, но ведь и сегодняшний, милый, не хуже. Тогда только намечались отдельные хрупкие и колеблющиеся нити между нами; теперь они упрочились, умножились, укоротились и привели нас к полному контакту. Ведь так, Ежка! И тебя я хочу благодарить, и судьбу, которая привела меня к встрече с тобой».

[73] Фр. Оск. постоянно стремился подбодрить Ал. Ив. и вселить в нее веру в будущее. Это удавалось ему лишь с переменным успехом. «Такты веришь, родной мой, в будущее. Ежка, милый! Заставь и меня поверить, заставь гордо смотреть вокруг, а то я чувствую себя виноватой перед больными, перед сестрами и т. п.», – писала Ал. Ив. (12 сентября).

(Булашевич[74]), с другой – 100 человек военных врачей не имеют дела в Москве, даром ходят! С одной стороны, призывают явно больных врачей, с другой – быки по здоровью (некие психиатры), побывав в неких кабинетах, освобождаются от призыва; и плохая организация, и явная недобросовестность. С одной стороны, прибывающих раненых богато наделяют всякими там фруктами и газетами, с другой – этих же раненых по многим дням не перевязывают за недостатком перевязочного материала… Повязка, наложенная на поле сражения, снимается впервые в Москве, в итоге под повязкой гангрена целых конечностей. С одной стороны, санитарный поезд по последнему слову науки, есть и электрическое освещение и вентиляция, с другой – хирургические инструменты в этом же поезде, оставшиеся от войны 1878-го года!!! В общем, мало отрадная картина.

Беседовал Фед. Ал. в поезде с одним раненым прапорщиком: он с увлечением рассказывал о том, как они медленно подвигались под градом пуль, но когда он дошел до того места, как он скомандовал «вперед» и бросился со своей ротой на австрийцев, у него задрожала челюсть, весь он затрясся, слова застревали в горле, – он не мог дальше, насилу удалось его успокоить. Какое это должно быть нервное потрясение! Сколько психически ненормальных вернутся с войны! – А мы всё просрачиваем…

Шурочка, ты меня счастливей, ты можешь работать. Ты вносишь нечто свое в общее большое дело, а я вынужден бездельничать, я не имею права работать… Я даже не мечтаю теперь о том, чтобы быть ближе к самому театру военных действий. Нет, я буду доволен, когда хоть здесь, в Воронеже, мне дадут работу.

Говорят, пленные германцы на ходу поезда зарезали часового, за что половину из них, через одного, расстреляли, – ужас! А вот другая картинка: раненый прапорщик в поезде познакомился и подружился с пленным австрийским офицером, при прощании долго и усердно целовались. Да, война проявляет все хорошие и дурные инстинкты человека. Для психолога богатое поле для наблюдений!..

Значит, и Бориса Абрамовича взяли на войну! Куда?

Милая Шурочка, ты получила письмо и книги, которые я переслал через Зайцева? Он говорил, что будет в Мороз[овской] б[ольни]це, а оказывается, что поручил только жене позвонить тебе, не успел.

С нетерпением жду от тебя известий, ведь уж три дня нет писем. Долго! А вдруг я завтра получу сразу два от тебя и одно от матери? То-то праздник!

Целую тебя, моя милая, дорогая Шурочка, много раз.

Твой Ежа.

А я пишу каждый день!*

Насчет «Практической медицины»[75] просил бы тебя, Шурочка, самой справиться в конторе письменно. Ведь у тебя имеется номер, под которым мне высылался журнал.

Сегодня так низко пал, что спал после обеда! Никогда больше не буду, каюсь! Совестно.

Как твои братья и сестренки? Пиши! Ведь они мне родные!

Какое хорошее письмо в редакцию «педагога» во вчерашнем номере «Русск[их] ведомостей]»![76] Наконец-то истинно гуманное слово.

Что ты мне писала в тех четырех письмах, которые отправила в Бар?[77] Боюсь, что не получу их, а хочется, так хочется знать! Пиши!

---

[74] Тарас Евменевич Булашевич, из врачей-ассистентов Морозовской больницы.

[75] «Практическая медицина» – петербургский еженедельный журнал.

[76] Письмо за подписью «Педагог» было написано в связи с распоряжением министра народного просвещения уволить и не принимать в учебные заведения детей германских и австрийских подданных. Автор письма оспаривал это решение и призывал к гуманному и любовному отношению к детям, независимо от их национальности и вероисповедания.

[77] «Ты спрашиваешь, что я писала тебе в Бар? Повторяла несколько раз, что ты хороший, дорогой, единственный, писала

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 4-го сентября 1914 г.

Дорогая Шурочка!

Уже вчера вечером, после того как я отправил тебе письмо, я получил не два, а целых три твоих письма сразу, от 30-го, 31 – го и 1 – го, а также открытку от матери. Вот праздник! Мать сообщает, что 30-го авг. они получили телеграмму от Лени из Раумо (Финляндия): «Благополучно России, Лени». Радость, конечно, велика, тем более что днем раньше от нее же из Парижа было получено весьма пессимистическое письмо. Она там считала, что ей не выбраться. Подробностей, конечно, пока никаких. Пишет мать, что отец уже встал, и нога болит менее. В чем тут дело, я не понимаю. Очевидно, какое-нибудь письмо я не получил. Захворал внезапно Hugo: t° 39°, кашляет. Пока неясно, боятся, как бы не оказался снова плеврит.

Карлушке подыскивают какой-то пансион. Опять не понимаю, в чем тут дело. Я писал и матери, и Артуру, просил ради Бога оставить его в гимназии, даже обещал, пока буду на военной службе, высылать ежемесячно 50 р. Ничего не понимаю, что хотят с ним делать, что значит пансион? Сегодня же напишу письмо, попрошу сообщить подробней.

Шурочка, ты не представляешь себе, как у нас проходит день? Да очень просто. Встаем в 7 ч. утра, моемся, чистимся и т. д. В 8 час. садимся за самовар, съедаем по три яйца всмятку, чай, хлеб. К 9-ти часам возвращается вестовой с газетами из города. Чтение их занимает у меня часа два, а то и дольше, от строки до строки. После чтения газеты принимаюсь за письмо тебе. Коллеги уходят обычно либо в канцелярию, либо еще куда-нибудь. В это время обычно возвращается другой вестовой с почты, приносит письма. Кончу писать, принимаюсь за французский язык, если осталось время. В 2 часа или позже садимся за обед: Левитский, Покровский, я и три сестры обедаем у нас в комнате. После обеда коллеги на часок заваливаются спать. Я грешным делом вчера тоже завалился, но больше не буду. Я в это время обычно читаю что-нибудь (сейчас Бунина) или кончаю заниматься французским.

Просыпаются коллеги, начинаются разговоры. Приходит Зайцев, мы все вместе уходим гулять по окрестностям, а затем на сборный пункт, – нет ли новых телеграмм с распоряжениями из Москвы. Там тоже разговоры. Последнее время я не хожу на сборный пункт, предпочитаю сидеть дома, читать или, если утром не успел, писать письмо. К 8-ми часам коллеги возвращаются, садимся за чай, хлеб, колбасу. Еще немного поговорим и почитаем, а там и спать пора. Ложимся в десятом часу, а то и раньше! Вот и всё. Как видишь, чисто растительная жизнь, – противно.

Впрочем, с сегодняшнего дня будет перемена. Мы сегодня внезапно решили выехать из Троицкого и поселиться в городе, тем более что хозяева здесь частью выезжают сами и берут мебель. Коллеги пошли искать комнаты. Зайцев тоже переезжает, думает от скуки начать здесь практику.

Вчера получена телеграмма, что мы здесь останемся временно, что мы будем замещены эвакуационными госпиталями из Москвы. Когда это будет? Всё же мы попадем в тыл армии. Ты, Шурочка, не желай мне оставаться в Воронеже, ведь там я ближе к делу, там мы, наверно, больше принесем пользы. К тому же, мне весьма маловероятным кажется, чтобы тебе при настоящих условиях дали отпуск, хотя бы и на пять дней. Это не может быть, и вы теперь все мобилизованы! Подождем еще немного, придет и наше время. Не теряй бодрости. Впрочем, ты

о волшебном действии твоих простеньких серых конвертиков, без которых мрачный дух сомнения нападает на меня, просила простить меня», – отвечала Ал. Ив. 6 сентября.

у меня молодчина, держишься прекрасно. Но, бедная, как ты устала! Как много у тебя работы! Да, вы там войну чувствуете, не то что мы! Прощай, Шурочка, хорошая.

Твой Ежа*.

Ты получила письмо с дубовым листом?

Елизав. Адр. [Сионицкой] я как-нибудь напишу. Верно?

Передай привет сестрам II терапии. Они, кажется, симпатичные.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 5-го сентября 1914 г.

Дорогая Шурочка.

Только что получил твое благоухающее туберозовыми лепестками письмо. Спасибо, спасибо. Меня поражает единство мысли и настроения, даже выражения у нас иногда одни и те же. Оба мы говорим о полном контакте, который мы невольно почувствовали! И какое спокойное, светлое, даже уверенное основное настроение. Ты у меня делаешь успехи с каждым днем. Поздравляю. Как бы не сглазить!

Написал сегодня длинное письмо матери, просил передать Лени мою просьбу написать мне подробное письмо, описать всё, что она видела за последние 1 % месяца, а ведь видела она много интересного, побывала в Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, шхерах, Финляндии. Какая смена впечатлений в такое интересное время! Есть о чем рассказать. Попросил я также мать написать мне подробней, какие у них планы и намерения относительно Карлушки, а то из отдельных фраз ничего цельного себе не состряпаешь.

Вчера вечером получена телеграмма из Москвы: немедленно развернуться. Кажется, уже в третий раз. На этот раз наш старший испугался, как будто взялся за ум. Вчера же вечером и сегодня утром они с эвакуационным капитаном искали в городе помещения, но до сих пор их труды не увенчались успехом. Решили во что бы то ни стало найти еще сегодня. В таком случае мы завтра утром переберемся всем госпиталем в город. Пора съезжать с дачи. Подходящие комнаты наши коллеги не нашли – дорого. Может быть, удастся устроиться с госпиталем. Узнаем завтра. А пока сидим всё в той же Троицкой слободе.

Мебель у нас хозяева понемногу отбирают. Стол еще имеется, есть на чем писать. Сегодня мы все сели писать письма. Друг над другом шутили, смеялись, однако всё пишем! Собираемся в баню после столь упорных трудов. Зайцев вчера вечером внезапно опять получил телеграмму: «Немедленно выезжай Москву». Взял отпуск и тотчас же вчера еще поехал. Должно быть, его все-таки устроят в Москве. Жаль, если так, он хороший товарищ и собеседник, есть к кому обратиться за советом.

Читала статью Евг. Трубецкого о «внутреннем немце и внутреннем турке» в 204 № «Русск[их] ведомостей]»?[78] Какая смесь хороших мыслей с наивным лепетом! Бог с ним. А немного ниже письмо из Копенгагена Дерентaля![79] Какой шовинизм и мелкий национализм и в Германии! Но, с другой стороны, то, что я тебе писал о Геккеле, я повторил бы и относительно Гауптмана[80]. Никогда не поверю, чтобы он был бы способен на мелкий шовинизм! Такая быстрая метаморфоза слишком невероятна, чтобы быть правдоподобной! Да, он любит свое отечество, он знает, что на карту поставлено всё, что вопрос поставлен: быть или не быть самосто-

[78] В статье «Победа» Е. Н. Трубецкой продолжал развивать свои мысли о гибельности узкого национализма для всякой нации и об освободительной миссии России (Русские ведомости. 1914. 4 сент., № 204. С. 5).

[79] Корреспондент газеты «Русские ведомости», эсер и политэмигрант А. Дерентaль (настоящее имя: Александр Аркадьевич Дикгоф), в частности, сообщал о «патриотической вакханалии» в Германии и немецкой пропагандистской кампании в Дании (Там же).

[80] «с полным сознанием сражаются за блага духовные и земные, которые служат прогрессу и возвышению человечества».

ятельному государству. И он пламенно желает успеха своей родине, ей слагает он свои стихи. Но разве это уже значит, что он низко пал, что великий, гуманный, просвещенный писатель, восторгавшийся нашим Художественным театром, подружившийся с его руководителями, что этот Гергардт Гауптман превратился в мелкого писаку, восторгающегося в угоду начальству всяким «патриотическим» подвигом прусских юнкеров и иже с ними?.. Нет, не верю. Вот мои невольные мысли!

Твой Ежа*.

Погода теплая.

* Ниже приписка на полях письма.

Воронеж, 7-го сентября 1914 и
(вчера не писал)

Только что получил два письма: одно от матери и другое твое, и оба такие печальные… Милая, милая моя Шурочка! Как я хотел бы сейчас быть с тобой, утешить тебя, успокоить хоть немного! Бедная моя, как тебе тяжело, как вам, женщинам, тяжело достается самостоятельность! Шурочка, ради Бога, прежде всего одно: сейчас же садись и напиши, что ты даешь мне слово в случае заражения не отчаиваться, не падать духом, не предпринимать ничего непоправимого, а лечиться, энергично лечиться, верить в лечение![81]

Слышишь, Шурочка, если не для себя, то для меня, умоляю тебя. Не заставляй меня напрасно умолять тебя. Ведь ты, Шурочка, должна же знать, что при энергичном и своевременном лечении lues (сифилис. – *Сост.*) радикально излечим под контролем Wassermann'овской реакции! Шурочка, напиши мне сейчас же, что ты обещаешься. Шурочка, слышишь?

А затем, Шурочка, обещай, что не будешь интубировать таких детей без роторасширителя. Ведь ты интубировала без него? Верно? Впрочем, я глубоко верю, что всё обойдется, что это ложная тревога. Не может быть, чтобы моя Шурочка, моя самоотверженная Шурочка стала бы жертвой своего долга. Это было бы слишком несправедливо, слишком жестоко!.. Дорогая моя Шурочка, верь, что я с тобой в твоих несчастьях, не предавайся отчаянию. <…>

И знаешь, Шурочка, когда тебе больно и горько, когда у тебя такое настроение, что ты думаешь, что так дальше жить нельзя, Шурочка, тогда иди к Вере Михайловне [Овчинниковой], не стесняйся вылить передней свое горе. Она человек сильный, она тебя поддержит своей скупой, но искренней лаской! И не считай, что это значит навязывать другим свое горе, свои невзгоды. Нет, Шурочка, она будет искренне рада помочь тебе, ведь у нее свое горе, она тебя так глубоко поймет. И поверь, что ей будет не тяжелей, а легче от того, что ты ей вполне доверишься. Вы разделите свое горе, и вам обеим станет лучше. Шурочка, прошу тебя, не отвергай моего совета – он правда хороший.

Господи, как хотелось бы непосредственным словом убеждать тебя! Я так боюсь, что письмо мое бессильно, что, может быть, я написал не так, сказал не всё и не то, что нужно. Шурочка, ты уж мне поверь, ты меня слушайся – не прогадаешь.

Затем я думаю, что ты могла бы поднять вопрос о своем переводе из дифтерийного отделения. Ведь если Алексеев захочет, он может найти подходящего человека, хотя бы Елизавету Адр. Пускай начальство хоть немного поймет, что сил человеческих не хватает переносить всё это. Пускай отдадут себе отчет, что вот они тебя держат уже столько времени взаперти в пределах М[орозовск]ой б[ольни]цы, что на тебе одной лежит вся громадная ответственность. Шурочка, подними этот вопрос. Пускай хоть немного призадумаются!

[81] При интубации дифтерийного ребенка, страдавшего врожденным сифилисом, Ал. Ив. поцарапала палец и опасалась, что заразилась сифилисом, чего, однако, не случилось.

И письмо матери тоже не очень веселое. Правда, Лени приехала, здорова и невредима. Эта забота отпала. Но зато имеется целый ряд других. Прежде всего, болезнь Hugo. Оказывается, что у него брюшной тиф и в форме нелегкой, f уже достигает 40°, и он временами начинает терять сознание. Ухаживает, конечно, мать, нет ей отдыха ни днем, ни ночью. Кто знает, как потечет болезнь? Затем мать пишет о какой-то болезни ноги отца: дескать, встал он, стал ходить, и снова стало хуже. В чем тут дело, не знаю. Очевидно, более раннее письмо утеряно.

Наконец, мать подробно описывает судьбу Карлушки. Сначала отец вспылил, когда узнал, что он провалился, обвинял, конечно, мать и хотел даже предложить Карлушке поступить сейчас же солдатом, простым рядовым, так как права на вольноопределяющегося он не имеет, не кончив шестого класса[82]. Впрочем, такое намерение было вряд ли серьезно. Очевидно, Карлуше нельзя больше остаться в той же гимназии, потому что оттуда его пришлось взять. Матери с Артуром удалось уговорить отца отправить его в Двинск[83], в частную гимназию, опять в шестой класс, так как в Риге его нигде не принимали (почему – не знаю). И вот он недавно, сильно подавленный, отправился туда. Для его самолюбия это большой удар. Будем надеяться, что принесет ему пользу.

Мать надеется, что, может быть, если он там возьмется за дело серьезно, его можно будет протащить через все классы гимназии. Сейчас же его отправили только на один год, для получения права служить вольноопределяющимся. Я надеюсь, что в будущем всё это уладится. Хотя мать и пишет, что денежная помощь с моей стороны не нужна, я всё же решил твердо отныне регулярно посылать свой пай.

Мне хочется, чтобы Карлушка окончил гимназию. Он малый способный, по существу хороший, только очень ленивый. Как только получу его адрес, напишу ему длинное письмо, меня он поймет. А бедной моей матери, как видно, из горя не выходить! Ты, Шурочка, не знаешь, какой она хороший человек, она удивительная. И вот ей приходится видеть всё горе да горе, и все мы в этом повинны! Очень уж мы все несдержанные.

А у нас перемена. Вчера мы втроем перебрались в город. Живем на самой лучшей Дворянской улице, в лучшем отеле «Бристоль». Я с утра заявил, что перееду. Тогда и коллеги решились, и вот, к вечеру перебрались. Номер у нас большой, чистый, светлый, воздуха много (4-й этаж). Дверь ведет на балкон, откуда прелестный вид на Дворянскую улицу и весь город. Подъемная машина, электричество. А главное, имеются кровати. Мы так отвыкли от этого невинного комфорта, что почувствовали себя богами, – чистота! <…>

Другие госпитали здесь уже работают. Все теперь развернулись, кроме нашего. Наш главный всё хотел устроиться со своим закадычным другом, главным врачом 254-го [госпиталя], но и тот его сегодня оставил, занял помещение в гимназии. Одним словом, нам придется, должно быть, взять самое плохое. Поговаривают о каких-то казармах в трех верстах от города! Одно горе и несчастье с нашим главным.

Милая Шурочка, заканчивая это письмо, хочу еще раз просить тебя: поступай так, как я тебе пишу, не отвергай этих советов, а главное, дай мне сейчас же те обещания, о которых я тебя прошу.

Прощай, моя милая, дорогая, единственная Шурочка.

Воронеж, 8-го сентября 1914 г.

---

[82] Право поступать вольноопределяющимися на воинскую службу имели лица, окончившие не менее шести классов средних учебных заведений или двух классов семинарий. Тем, кто не имел соответствующего образования, дозволялось пройти испытания по программе шести классов средних учебных заведений (без иностранного языка). После экзаменов по военным дисциплинам, примерно соответствовавших курсу юнкерских училищ, вольноопределяющиеся получали офицерский чин. Сроки их службы были значительно короче, чем у тех, кто проходил службу по призыву.

[83] Важный опорный пункт Северо-Западного фронта, ныне город Даугавпилс в Латвии.

Шура, Шура, что мне с тобой делать? Что посоветовать? Как тебя утешить? Вот и другое письмо, такое же горестное, полное отчаяния! Нет признаков хотя бы малейшего успокоения, полная безнадежность!

И я чувствую, что при таком твоем настроении бессильны все мои доводы, все убеждения. Я и не буду говорить тебе сейчас холодные слова рассудка, логики – их время не пришло. Я тебя, Шурочка, попрошу только об одном: когда на тебя нападет эта тоска, это отчаяние, тогда, Шурочка, мысленно обними меня, прильни ко мне и верь, Шурочка, что я совсем, совсем с тобой, что ты не одна, что у тебя есть поддержка. Если же тебе необходимо более реальное ощущение, то позови Веру Мих., она всей, всей душой будет с тобой, тебе станет легче.

Если же, Шурочка, пребывание в Морозовской больнице тебе станет совсем, совсем не по силам, тогда брось ее, уйди, приходи ко мне. На ней свет клином не сошелся, мы что-нибудь придумаем новое. Всё это не так важно. Важно то, чтобы Шурочка не приходила в отчаяние, чтобы для нее жизнь не стала бы каторгой. Главное, Шурочка, ты никогда, ни в коем случае не должна думать, что выхода нет, что всё потеряно, что всё непоправимо. Это не так. Поверь мне, что бы ни случилось, мы с тобой всегда найдем какой-нибудь выход. Если же на тебя найдет такое настроение, и ты будешь думать, что всё пропало, тогда, Шура, ты просто уйди из Морозовской б[ольни]цы и приезжай ко мне[84]. Я тебе тогда докажу, что не всё пропало. Слышишь, Шурочка!

Есть немецкая поговорка, правда, они сейчас не в моде: Gut verloren – wenig verloren, Ehre verloren – viel verloren, Mut verloren – alles verloren, то есть: добро потерял – мало потерял, честь потерял – много потерял, бодрость потерял – всё потерял![85] Так вот, Шурочка, моя жена не должна терять бодрости, той минимальной бодрости, необходимой для того, чтобы сказать, что еще не alles verloren. Ты должна знать, Шурочка, что бы с тобой ни случилось, ты не можешь ничего решить без меня, не поговорив со мной, – ведь так? Шурочка, знай, что я твердо убежден, глубоко верю, что ты ничего не сделаешь без меня.

Сильно хочется верить, что когда это письмо дойдет до тебя, ты уже не будешь так нуждаться в утешении, в убеждении; что первая обида, первая боль уже пройдет, что появится опять вера, если не во всех людей, то во многих, вера в жизнь, в красоту ее, смысл ее. А я так глубоко верю, что еще немного терпения, пройдет еще немного времени (что несколько месяцев в сравнении с целой жизнью!), и всё образуется, мы опять будем вместе и снова сообща решать наши дела, сообща нести горе и неудачи. И воевать мы будем опять вместе! Ведь мы уже воевали! Не дадим же этим внешним силам нарушить наш внутренний Мір и мир, будем с ними бороться, будем побеждать и принимать отдельные удары, не предаваясь унынию и отчаянию, зная, что где борьба, там не только победы, но бывают и горькие поражения.

Только не терять бодрость, не терять веру в нашу совместную неразрывную хорошую деятельность, только помнить, что какие бы нам ни послала судьба испытания, мы всегда найдем друг в друге сильную и верную поддержку. Или думаешь ты, Шурочка, что только в счастье ты мне мила?!..

Крепко тебя обнимает и целует

Твой Ежик.

Воронеж, 9-го сентября 1914 г.

Дорогая Шурочка! Пишу тебе спешно и немного, так как я устал смертельно. Сейчас двенадцатый час ночи, а мы работали с 7-ми утра. Милая, почему ты кончаешь свое сегодняш-

---

[84] На это Ал. Ив. отвечала 16 сентября: «А относительно моего ухода отсюда – разве я могу в такую тяжелую пору ради личного своего счастья бросить дело? Ведь это бессовестно, Ежка! Ты первый бы счел это женской слабостью. Остается только сказать мне, как Фаусту:Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,Die eine will sich von der andern trennen![Ах, две души живут в груди моей,Друг другу чуждые, – и жаждут разделенья!(Пер. Н. Холодовского)]».

[85] Обычно приводится как цитата из стихотворения Иоганна Вольфганга Гете.

нее письмо (от 6/IX): «Прости меня»? Что я тебе должен или могу простить? Не надо больше таких слов. Ты не можешь себе представить, Шура, как ты меня обрадовала немного более бодрым тоном сегодняшнего письма! Намечается уже выздоровление от недуга души. Значит, я был прав, когда вчера высказывал горячую надежду, что когда дойдет до тебя

письмо, ты уже победишь в себе свое малодушие, ты уже не будешь так нуждаться в моих увещаниях и уговорах. Ты сама справишься со своей временной слабостью, ты у меня сильная, только кажешься иной раз слабенькой и маленькой. А когда сегодня во время работы солдат принес с почты твое письмо, я так напряженно волновался. Не было времени распечатать и прочитать, а письмо лежало в боковом кармане. Как-то моя Шурочка – хуже или лучше? Нет ничего злее неизвестности.

Дорогая моя, спасибо, спасибо за этот небольшой еще, но уже намечающийся проблеск надежды, ведь моя Шурочка не может не быть бодрой и сильной! Ну, а отдельные моменты уныния со всяким бывают, это ничего не доказывает. Моей Шурочке тяжело – да, но моя Шурочка сильна и тверда! Ведь так, Шурочка?

А я сегодня наконец работал, да еще как работал!.. Вчера утром как будто бы окончательно было решено, что мы переезжаем в казармы в трех верстах от города, в грязи. Это после того, как все остальные госпитали уже устроились здесь в Воронеже! Но в последний момент, вчера вечером нам губернатор внезапно отвел здешнее женское епархиальное училище. Сегодня в час дня мы должны были получить до 300 раненых. И вот наша команда с 3-х часов утра, а мы с 7-ми без перерыва устраивали помещение. Не было кроватей, не были набиты тюфяки соломой, не было досок для кроватей, не было раскупорено наше медицинское и аптечное имущество, не было приготовлено помещение, не мыты полы и стены после бывшего ремонта, не было шкапов, ламп и т. д.

А в 2 часа у нас уже были приготовлены 300 кроватей, вполне благоустроенное помещение и стол. И вот мы стали принимать привозимых больных. Почти все легко раненые, ходят. Переодели их, умыли, накормили, напоили, а нуждавшихся в перевязке, около 25 человек, к вечеру перевязали. Кончили в 10-м часу. С непривычки устали здорово. И все-таки впервые ложишься спать с чувством удовлетворения, с чувством, что вот и ты работал, и ты не совсем бесполезен. А тут еще твое письмо, которое, несмотря на грустный свой тон, всё же дает мне уверенность в том, что это временное, что ты справишься со своим унынием!..

Сегодня мы еще ночуем в «Бристоле», а завтра перебираемся в отводимое нам помещение – лазарет училища. Там будет, я думаю, недурно. Чудесный сад, весь в осенних листьях. А сегодня такая чудная была погода! Шура! Я теперь тоже буду работать! Ты в Москве, а я в Воронеже, и мы будем всё время чувствовать, что мы не одни, что наша работа совместная. О, я так ощущаю, что ты со мной во время моей работы!

Твой, твой, твой Ежик.

Воронеж, 11-го сентября 1914 г.

Дорогая Шурочка. Что значит твое молчание? Вот уже два дня нет от тебя известий. И как раз теперь, когда я их ожидаю с особенным нетерпением! И вчера и сегодня, утром и вечером посылал на почту, и напрасно. Меня тревожит это молчание. Неужели у тебя может быть такое состояние духа, при котором тебе не хочется поделиться со мной своими переживаниями? А если тут виновата только почта, то как некстати!

Мне так хочется вечером, когда наконец усталый возвращаешься домой, видеть свежий нераспечатанный еще твой конвертик, так хочется знать, что мыслит и чувствует там, за тридевять земель, моя Шурочка! Не сменяется ли опять бодростью ее уныние, не поднялся ли дух ее, или всё еще блуждает в потемках! Хочется быть с тобой, только с тобой, хоть несколько дорогих минут в день.

А времени у меня теперь так мало. Вчера я даже не успел так-таки тебе написать хоть несколько строк. Мы за день втроем перевязали 240 человек. С непривычки это кое-что да значит. К вечеру повалился спать, как сноп, но, к сожалению, и спать-то не удалось как следует. Под тонким тюфячком не было еще досок, и вот ребра кровати врезывались в бока, а руки и ноги проваливались в пространство.

Сегодня тоже было работы весьма много. Получены были бланки для историй болезни, и пришлось начать их заполнять. Над этим провозились весь вечер, а дело почти что не продвинулось вперед. Приходится обозначать довольно точно, так как мы здесь сейчас занимаем положение эвакуационного госпиталя и с послезавтрашнего дня будем составлять комиссии, т. е. выписывать, возвращать в строй, в слабосильные команды, определять потерю трудоспособности и степень ее. Одним словом, наши записи будут иметь значение юридического документа. Для начала вся эта канцелярия отнимает много времени, со временем это пойдет быстро.

Необычно для меня также и то, что пациенты взрослые. Затруднение большое также и в сильной ограниченности наших аптечных средств. Имеются лекарства только весьма примитивные, да и то из них многих нет. Нет даже ипекакушки[86]. Больные жалуются на всевозможные болести, объективное основание для которых трудно найти: ломит, режет, сосет, колет, а где и что – остается под вопросом. Новы для меня и многие перевязки. Лечение ран для меня terra incognita. Попался мне хороший фельдшер, школьный, служивший много лет в земстве. Так я его очень слушаюсь и очень ценю его помощь.

Ты, Шурочка, должно быть, думаешь, что такая безалаберная, рассчитанная на быстроту работа должна мало удовлетворять. Но нет, Шура, хотя сейчас на первом плане просто усталость, все-таки я чувствую, что работаю, не даром получаю жалованье, и что работа эта становится уже осмысленней и будет со временем приносить некоторую, хотя и скромную, пользу.

Сегодня нам дали еще двух врачей и двух сестер на помощь, и теперь на каждого из нас приходится по 50 человек. Наш главный врач при более близком знакомстве оказывается если и не особенно милым, то вполне сносным человеком, товарищем, а не только начальником. Я думаю, что мы с ним работать будем мирно. Заканчиваю, дорогая Шурочка, устал. Чаю слышать слово живое твое. Пиши.

Твой Ежа*.

Шурочка ты моя дорогая!

А хирургические наборы у нас роскошные, чего-чего только нет! Глядя на них, хочется сделаться хирургом!

В нашем саду до сих пор не был, нет времени.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 12-го сентября 1914 г.

Шура! Что это такое? Я неспокоен, я не понимаю. Когда мне сегодня денщик сказал, что для меня имеются два письма, я так обрадовался, – думал, что и вчерашнее и сегодняшнее письмо получу сразу, что тревога моя напрасная. И что же? Два разных конверта с чужими почерками. Меня так и обдало холодом. Я даже не решился сразу открыть конверты.

Шура! Дорогая Шура! Если завтра не будет от тебя письма, я пошлю тебе телеграмму с запросом. Что же это такое? Не верю, чтобы Шурочка могла меня на три дня оставить без всяких о себе сообщений в такое время, когда я должен знать каждую ее мысль и чувство, когда она томится, когда ей тяжело. Но, с другой стороны, не могу допустить, чтобы вина этому

[86] Настой ипекакуаны – популярное отхаркивающее средство.

почта! Ведь сегодня я получил письмо Никол. Иван. Скворцова[87] от 10-го числа! Что это такое? Я сегодня дежурный. Когда как-то ко мне подошли и сообщили, что меня кто-то дожидается, я побледнел, ноги задрожали, я сам не знаю, что со мною сделалось. Шура, я так неспокоен. Почему ты мне не пишешь? Я теряюсь в догадках и ничего не понимаю. У меня нет других мыслей. Мне тяжело. Я хочу знать всё, я должен знать. Шура, дорогая, не заставь еще долго ждать. Хоть три слова. Вот и я тебе пишу во 2-м часу ночи, раньше не мог освободиться. Не читал даже еще письма. Другое от Александра] Акимовича Чахмахсазианца[88]. Милая, я жду, но я так не уверен теперь, что получу завтра. Милая, милая Шурочка, пиши!

Ведь ты же получила все мои последние письма?

Шура, я больше не могу ни о чем другом писать! Я жду, жду!

Воронеж, 13-ю сентября 1914 г.

Милая, милая Шурочка! Получил, наконец, твое столь нетерпеливо ожидаемое письмо от 10-го. И что же? Всё та же бесконечная грусть и тоска! Вот уже больше недели… Шура! Ты пишешь, что я тебя не понял, что я тебе даю советы напрасные и невыполнимые.

А я, Шура, когда читал сегодня твое письмо, не соглашался почти ни с одним твоим доводом, ни с одной фразой. И я почувствовал, что не я тебя, а ты меня не поняла. Я почувствовал, что я был неправ, когда вообще высказывал мысли относительно твоего состояния, ведь ты сейчас в таком настроении, что не приемлешь ничего. Скоро ты отречешься от многого, что сегодня написала. Ты тогда поймешь, что такие слова, как «изгой, обязательство, небрежность» не нужны, неверны. Но я не буду спорить, я не хочу, не могу спорить! Сейчас время еще не поспело, сейчас всего этого не надо.

Я ведь помню часы смятения души твоей, когда все мои слова не доходили до тебя. Лучшим целителем было время. У тебя сильная натура, и ты справишься и с настоящим своим горем. Так хочется тебе помочь, поэтому и невольные бесплодные попытки убедить, уговорить. Шура, я не буду. Я буду терпеливо ждать, когда буря в твоей душе уляжется сама собой. Только дай мне возможность быть с тобой в каждый момент, в каждое из движений твоего чувства, твоей мысли. Не уничтожай письма ко мне, не отказывайся от того, что написала, и никогда не думай о том, как бы не огорчить меня. Ты меня огорчишь, если не совсем и не во всем будешь со мной делиться. Шура! Неужели в твои горькие минуты я не должен быть с тобой?!

Милая, если бы ты ко мне приехала, я бы быстро, быстро успокоил тебя! Мне кажется, что это так просто, так легко! Милая, брось Морозовскую больницу и приезжай. Мы здесь что-нибудь придумаем. Правда, я абсолютно не знаю что, но ведь не должна же гибнуть живая душа человека, душа моей Шурочки, от чего-то постороннего, от внешнего мира, который теперь ведь тебе так чужд! Я так глубоко верю, что твое настоящее настроение есть следствие твоего переутомления, перегружения работой и внешних неприятностей. Ведь внутренних, единственно убедительных причин нет, их не может быть. Исчезнет внешнее, изменится и внутреннее. Но я опять, кажется, убеждаю. Не буду. Вот если бы ты была здесь, то я не стал бы убеждать. Я просто крепко, крепко обнял бы тебя и еще крепче поцеловал бы взасос. Ведь это было бы убедительно?

Милая, милая, так хочется тебя, мою бедную женушку, мою солдаточку, поскорей успокоить, умиротворить! Тогда ты уже не будешь писать, что ты не веришь в лучшее будущее, или даже восклицать: «Ежка, зачем я встретила тебя!». Ты меня встретила затем, Шурочка, чтобы со мной вместе жить, мыслить и чувствовать, и временная разлука ничего не доказывает обратного. А я говорю: я верю в лучшее будущее, и «как хорошо, как славно, что я встретил

[87] Николай Иванович Скворцов, врач-ассистент Морозовской больницы.

[88] А. А. Чахмахсазианц, любимый и авторитетный наставник Фр. Оск., студентом жил в семье Краузе.

свою Шурочку!» Кто победит? Ты или я? Я верю, что я, ведь нам предстоит еще так много хорошего!

*Воронеж, 14-го сент. 1914.**

Милая Шурочка! Сегодня какая радость, а затем какое разочарование! С утра с нетерпением ждал твоего письма: как-то моя Шурочка!? В 3 часа идем обедать, мне подают от тебя письмо. Я тут же за обедом пробегаю его, и что же? Там говорится о радости жизни, о бодрости, говорится о том, как просыпаются тяжело больные после болезни. Меня охватывает радостное сознание, что моя Шурочка находится на путях выздоровления, что мои ожидания оправдываются.

Затем опять идет работа, долгая и утомительная. И вот я наконец дома, поздно вечером. Я хочу тебе ответить радостно, беру твое письмо, чтобы перечитать уже не спеша, разобраться во всех тонкостях. И тут только замечаю, что оно от 7-го числа, что вчерашнее твое письмо было от 10-го! И снова у меня крылья подрезаны, снова еще большее сомнение и грусть охватывают меня, ведь ты мне 11-го не писала, а что это значит? Почему? Значит, после небольшого светлого промежутка грусть и отчаяние еще сильнее охватили тебя! Шура! Укажи мне, как могу я тебе помочь?

Я не знаю, я теряюсь. Я не могу на тебя действовать непосредственно, а письма влияния не оказывают. А если оказывают, то обратное, как показало твое вчерашнее письмо. Шура, я начинаю уже чувствовать, что опять наступает тот момент, когда между нами какой-то ров, когда ты не понимаешь меня, и когда, должно быть, и я тебя не понимаю, когда нет непосредственного контакта между нами. А мне еще так недавно казалось, это уже совсем невозможным! Почему это? Ведь кажется, мы должны всегда, всегда ощущать друг друга и на расстоянии. Мое я должно переходить в твое и наоборот. Шура, укажи выход!

Шура, да почувствуй, почувствуй же, что я близок, что я около тебя и в дни твоих сомнений и колебаний, в тяжелые твои дни! А если ты меня не ощущаешь, то брось всё, приезжай! Ведь пойми, что ты мне дороже, чем какие-нибудь материальные радости; что важнее всего мне то, чтобы и ты ощущала бы радость жизни, чтобы и ты была бы бодрая и светлая. Ведь мы хотим же вместе жить, вместе работать, вместе делить и счастье и невзгоды. Я не могу к тебе? Ergo[89] – приезжай ты ко мне. Остальное образуется. Ты должна быть бодрой, вместе со мной верить в светлые наши совместные дни!

Остальное наплевать! Не так ли?

Пишу карандашом, потому что кто-то ручку у меня взял, а коллеги спят.

* Письмо написано карандашом.

Воронеж, 15-го сентября 1914 г.

Дорогая моя Шурочка! Ну вот видишь, уже намечаются признаки выздоровления. Правда, невеселое еще твое письмо, но оно и не столь пессимистическое, как предыдущие. Ты становишься уже более спокойной. А когда ты получишь это письмо, то уже будешь опять прежняя, моя хорошая умница. Упадок духа временами бывает со всяким, может и со мной случиться. Так не будем же долго останавливаться на этом, – это временное уныние, оно прошло, перейдем опять к порядку дня, посмотрим опять смело вперед! Не так ли, Шурочка? Ведь ты уже начинаешь со мной соглашаться, ведь ты не скажешь, что я говорю нечто такое, что не доходит до твоего сознания? Верно? И ты опять способна уже концентрировать свое внимание на окружающем. Ты пишешь о директоре, о коллегах, о том о сем – всё это первые ласточки, предвестники весны, нового расцвета! О, я так верю, что мы славно заживем с тобой! Будет так хорошо! Верь, Шурочка, моя хорошая, верь же, как я верю!

[89] Ergo *(лат.)* – следовательно.

Вот сегодня я могу тебе писать и о себе, о том, как мы здесь живем и работаем. Работы много. И мы здесь тоже эвакуируем и получаем новые партии, едва успеваем записывать. У меня больные по несколько дней лежат не записанные. Перевязывать приходится редко и по возможности бережливо. Об этом нам толкуют постоянно. Встаем в 7 часов, начинаем работу в восемь. Перевязки и обход отнимают весьма много времени. Собственно, не обход, который я сплошь и рядом не делаю, а записывание историй болезни (хотя и очень кратких).

Из интересных случаев у нас только один больной с tetanus'ом (столбняком. – *Сост.),* развитие которого мы наблюдаем с самого начала. Началось, как полагается с masseter'ов (жевательных мышц. – *Сост.).* Тяжелая картина, полное сознание. Георгиевский кавалер, участвовавший в китайском и японском походах. Рана обширная, рваная – кисти правой руки. Удалось мне оттуда извлечь деформированную оболочку разрывной австрийской пули! Затем еще два раза приходилось вынимать пули, вылущил три фаланги – вот и всё, остальное – перевязки.

Так как мы сейчас являемся конечным этапом, то и своих, и других присылаемых для этого, проводим через комиссию (из нас же состоящую) и отправляем многих в слабосильные команды или увольняем вовсе от службы. Это тоже отнимает весьма много времени. Сегодня, например, я не успел никого перевязать, только сортировал, определял, а затем целый день торчал в комиссии, где опять-таки вносил в книгу со всеми онерами[90]: «одержим отсутствием двух фаланг указательного] пальца» и т. д.! Сегодня таким образом пропустили целый ряд терапевтических с vitium cordis, tbc, gastritis chr. (пороком сердца, туберкулезом, хроническим гастритом. – *Сост*.) и т. д., которые несколько дней лежали у нас без лечения, так как мы не имели самых элементарных лекарств.

Напр[имер], отсутствуют в нашей аптеке: natr. brom., magnes. usta silt., t-ra valer. simpl. (бромистый натрий, магнезия жженая, настойка валерианы простая. – *Сост.)* (имеется только aether (эфир. – *Сост.),* и то 60,0), t-ro opii, zin. oxid. (настойка опия, окись цинка. – Сост.) и т. д. Здание госпиталя у нас прямо-таки уныло-мрачное: темные коридоры, холодно, всюду сквозняк, страшно неуютно. Я не хотел бы лежать в таком госпитале.

Команда наша в достаточной мере бестолковая – всё мужики, для которых работа эта мало подходяща. Впрочем, говорят, что мы здесь недолго останемся, что через две-три недели нас отравят дальше. Куда? В 3 часа обедаем, после чего сейчас же на работу. Возвращаемся домой не раньше 10-ти часов. Как снопы валимся спать, вот и сейчас раздается богатырский храп.

Живем мы во флигеле, как я тебе писал. До сих пор было холодно, но сегодня первый раз протопили, и стало недурно. Только мы здесь почти исключительно спим, сидеть не приходится*.

Едва успеваем читать газеты, запаздываем на два-три дня. Где уж тут заниматься французским языком. Эту мечту приходится пока оставить.

Зайцев и второй раз приехал в Москву только на один день. Ему там не удалось ничего добиться. Сейчас он врачом на питательном пункте на вокзале. Невесело!

Фотографию поневоле совсем забросил.

С существованием нашего главного я совсем примирился. Он, оказывается, парень недурной и вполне приятный в обществе. Привык он только в военном ведомстве ко всяким бумагам. Он сильно оживляет нашу компанию, держится совсем хорошим товарищем.

Вот уж опять первый час ночи! Прощай же, моя дорогая. Скорей, скорей выздоравливай совсем!

* Далее приписки на полях письма.

[90] Онеры *(франц.* honneurs) – почести.

Воронеж, 17-го сентября 1914 г.

Милая Шурочка, золото мое. Сегодня сразу получил два твоих письма, от 13/IX и 14/IX, а вчера ждал напрасно. Да и сам я вчера был лишен возможности писать тебе что-либо, не было сил. Меня к 7-ми часам вечера откомандировали на вокзал принимать транспорт раненых. Поезд прибыл только в 8 % ч., а выгрузка производилась чрезвычайно медленно. К тому же путались, в какой госпиталь сколько отправить раненых. Нам обещали было 150 раненых сразу, но затем быстро выяснилось, что на нашу долю не будет их совсем.

Однако на мой вопрос, можно ли мне удалиться, мне ответили отрицательно. И вот меня держали без всякого смысла на вокзале до 12 ч. ночи. Когда вернулся, пришлось за чаем сообщить главному все подробности, а когда вернулся в свою квартиру, то заметил, что ванна была затоплена, – мылся Левитский. Я не устоял и тоже влез в нее. Когда же я вылез и взялся было за перо, то почувствовал, что не могу, слишком устал. Было уже 2 часа ночи.

Сейчас тоже уже скоро час ночи, но я сегодня дежурный. Только вечером пришлось на несколько часов поменяться с Покровским, чтобы пойти в «Бристоль» приветствовать с днем ангела супругу Левитского, сегодня к нему приехавшую. Он – счастливый, сияет, горд! А мне завидно!

Вот видишь, как мы живем. Сегодня было сравнительно тихо в отделении: новых нет, а старых мы последние дни усиленно выписывали. Если бы не именины, то сегодня в первый раз у меня вечер после 8-ми часов был бы свободный. А спать так хочется! Ты ведь знаешь, какая у меня в этом всегда потребность.

Дежурному у нас необходимо быть в фуражке и при шашке. Спать ему по закону не полагается, а только немного отдохнуть на кушетке. Оной у нас нет, а стоит кровать, на которой мы и спим несколько скудных часов, не снимая тужурки и сапог. Ждем уже несколько дней внезапного приезда принца Ольденбургского[91]. Выучили церемониал и форму встречи – рапорт. Авось не в мое дежурство. Хожу я чуть не по неделе небритым – вечером не хочется, устаешь, думаешь, завтра, а утром спешишь, нет времени. Оброс и некрасив.

Вчера, Шурочка, я впервые видел вблизи раненых австрийцев. Производили они чрезвычайно тяжелое впечатление, охватывает прямо какой-то ужас. Оказались все тяжелоранеными, приходилось переносить их в госпиталь только на носилках. И вот лежали они на платформе на носилках, с перебитыми ногами и руками, без движения, покрытые только шинелью, дрожа от холодного ветра, молчаливые, с такими грустными и измученными глазами, что прямо сердце щемило – такие они несчастные, жалкие! Тут впервые вплотную я почувствовал всю дикость и ужас войны.

Один из них всё время жалобно стонал. А на платформе гуляют «сестры милосердия» из местного общества (как ненавижу я этих глупых пустых барышень, рисующихся Красным Крестом), около них увиваются кавалеры из военных и нашей братии. Подойдут к носилкам, бросят пустой любопытный взгляд на страдающих и, виляя задом, грациозно поплывут дальше, кокетливо улыбаясь. Если бы по мне, то я бы их далеко упрятал. Недаром вспоминал за моей спиной один солдатик: в японскую кампанию много этаких было! Неужели такие пустопорожние бабенки и сейчас нужны, в эту войну? Как противно!

Смешны и «санитары» из гимназистов, единственная работа которых, очевидно, заключается в том, чтобы встать на подножку автомобиля (конечно, после того как с помощью наших санитаров больные будут уже усажены) и прокатиться некоторое расстояние: дескать, автомобиль с санитарами! Глупо.

---

[91] Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932), принц, правнук императора Павла I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета, во время мировой войны – верховный начальник санитарной и эвакуационной части армии.

Порадовало меня отношение к пленным простой серой публики и солдатиков. Сосредоточенно и сочувственно они глядели на них, ни одной глупой шутки я не слыхал. Санитары наши и солдаты охотно помогали и укрывали их, видимо входя в их несчастье. Почти все они были славяне – чехи и русины. Я заметил только одного немца, простого парня, очень старавшегося объяснить докторам, что он может и сидеть в автомобиле, что его не стоит таскать на носилках. Наконец, его поняли и внесли в автомобиль на руках.

Каково нашим пленным там, у них?! Должно быть, так же несладко. Поскорей бы кончилась эта война! Ведь это сплошной ужас!

Горестные вести я получаю из Риги! Сегодня мне пишут Лени и Артур, что Hugo весьма тяжело болен. Одно время казалось, что дело уже идет на поправку, что тиф средней тяжести, как вот появился нефрит, был даже уремический припадок. Решили его отправить в местную городскую больницу, где можно было с большей полнотой производить всё необходимое. Так и сделали. При нем дежурит сестра милосердия, которой он очень доволен. Почти не отходит от его постели мать (больница платная). Но одним осложнением дело не кончилось: наступил коллапс, внезапно упала Г и появилось обильное кишечное кровотечение! Сердце неважное. Состояние крайне серьезное. Последние два дня t° всё время субнормальная, полузабытье.

Ты можешь себе представить, как тяжело матери! Сколько ей за последние годы забот из-за болезней сыновей: нефрит Артура, дифтерит мой, неврит Вилли, а теперь тиф Hugo! Если прибавить войну, исчезновение с горизонта на некоторое время Вилли и Лени, неудачу на экзамене Карлуши, подагру отца (это нога-то у него болела!), то получится весьма малоутешительный итог. Бедная она, ведь она всё так близко принимает к сердцу, совсем не так, как я. Мы в отца, она другая. Хочу ей сейчас написать длинное письмо, ведь больше я ничего сейчас не могу сделать.

Как много горя приходится видеть в последнее время! Как мало в настоящем светлого, бодрого. Но всё это будет, я не сомневаюсь. Это временная туча, которая уже скоро уступит место яркому солнцу! Это будет!

Сегодня именины Веры Михайловны [Овчинниковой]. Моя хорошая, ты от меня хочешь поставить ей цветы на стол! Как хорошо! Спасибо, спасибо. А я еще до твоего письма утром послал ей приветственную телеграмму. Ты не думай, что я забыл.

Борису Абрамовичу [Эгизу] я непременно напишу, как только будет хоть немного времени. Большое спасибо за его привет. Тебе теперь тоже будет немного легче.

Ты меня спрашивала, нравится ли мне статья Кропоткина в Р. В.?[92] Да, мне она очень понравилась, многое показалось весьма убедительным. В том, что Германия сознательно вызвала войну, я тоже не сомневаюсь. Не могу я только согласиться с тем, что цели Германии были завоевательные. Нет, не верю. Для целей завоевательных, для приобретения новых территорий государство не пойдет на такой страшный риск, не поставит на карту свое существование. Нет, именно потому, что существование Германии как государства давно поставлено на карту Тройственным соглашением, не могущим примириться с таким опасным конкурентом на мировом рынке и стремящимся рано или поздно задавить этого конкурента, именно поэтому Германия, зная это, зная, что она окружена врагами, ждущими удобного момента, должна была сама подготовить эту войну, выбрать самой момент для нее благоприятный. Германия сознательно борется за свое существование как национального государства, сознательно начала ее: либо теперь, либо никогда! Так я себе объясняю причину войны.

---

[92] «Напиши мне, как тебе нравится статья Кропоткина в сегодняшнем номере “Русских Ведомостей”. Мне она показалась очень интересной. Хорошо, если бы его слова о войне как последней – осуществились», – писала Ал. Ив. 7 сентября. Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921), князь, революционер, теоретик анархизма, географ, в 1886–1917 гг. проживал в Англии. Здесь упоминаются его «Письма о современных событиях» (Русские ведомости. 1914. 7 сент., № 206. С. 3). Далее в письмах Фр. Оск. газета «Русские ведомости» часто обозначалась аббревиатурой Р. В.

А читала ты, Шурочка, фельетон недавний Елпатьевского «Перед войной»?[93]Если нет, то прочти, и тогда поймешь, почему я советую.

Уже третий час ночи, а надо писать матери. Прощай, моя дорогая, хорошая. Будь паинькой!

8/IX

Дорогая моя Шурочка! Буду краток. Только что сидел и писал матери, как вдруг приносят телеграмму: «Гуго тихо скончался».

Шурочка, я сейчас не буду распространяться, сейчас не могу. Мы часто так несправедливы бывали к нему, а он по существу был хороший человек. Такая золотая, наивная детская душа, единственный среди нас доверчивый, не стеснявшийся говорить то, что думает, не скрывавший своих симпатий и антипатий. Он не стеснялся говорить матери нежности, если хотелось. А ведь мы никогда не могли перешагнуть какую-то грань, которая нас заставляла молчать, не говорить то, что думаешь.

Милая, дорогая Шурочка, завтра – больше.

Твой Ежа.

Хочу к тебе! Хочу вместе с тобой к матери!

Воронеж, 19-го сентября 1914 г.

Серый, серый и грустный, грустный день. С утра густые тучи и мелкий дождик. Листья падают, порывы холодного ветра. Насморк, слегка познабливает, а на душе как-то уныло, уныло. Всё время вертятся в мозгу какие-то обрывки воспоминаний, и странно кажется, так странно, что наша семья, искони состоявшая из девяти человек, теперь состоит из восьми – одного уже нет. И так быстро, неожиданно – как-то не верится. Ведь мне еще ни разу не приходилось испытывать утрату близкого человека, и когда мне мать писала, что состояние брата тяжелое, что был коллапс, я все-таки не допускал мысли о близости рокового конца. <…>

Бедная мама, что она теперь переживает? Почему я не могу туда, к ней?! Нам так необходимо собраться всем вместе! Ты меня так хорошо понимаешь, я это чувствую. Ты такая золотая, моя Шурочка.

Воронеж, 20-го сентября 1914

Милая моя Шурочка. И хочется, и не хочется с тобой спорить. Ты меня называешь глупеньким. Ты говоришь, что я хочу тебя наивно утешить какими-то паллиативами – «иди к Вере Мих.» и т. д. Но на это я тебе могу возразить, что в предыдущем письме ты писала буквально следующее: «он (Бор. Абр.) повозмущался, пожалел меня, и мне стало теплее. Уж так, видно, создан человек». Могу напомнить, что 2-го сентября твое настроение было светлое, ясное, а 3-го сентября так внезапно переменилось под влиянием крупной неприятности на почве работы в дифтерите…

Мог бы тебе еще многое доказать, но не стоит. У меня есть аргумент более сильный и убедительный. Скажу только одно: неужели, Шурочка, ты во всех моих письмах за это время заметила только элемент рассудочности, убеждения, от которого я сам постоянно открещивался. Неужели ты не замечала другого, более убедительного, глубокого желания быть с тобой в эти тяжелые дни, не вдаваясь в рассуждения, отчего тебе больно. Неужели за мое стремление

[93] Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933), врач, писатель и общественный деятель. За участие в народническом движении подвергался арестам и ссылке. При советской власти служил врачом Кремлевской больницы. В упомянутой статье (Там же. 1914. 14 сент., № 211. С. 5) рассказывалось о мирном настроении и благоустроенной жизни накануне войны в странах Скандинавии и других «давно замиренных странах», что, очевидно, навевало Фр. Оск. воспоминания о недавней поездке в Финляндию.

снять с тебя по возможности хоть внешние причины, вызывающие боль, обставить тебя хоть некоторой лаской, – неужели я за это заслужил название глупенького?

Ну что? Ведь на это ничего уж возразить не можешь? Признайся побежденной, моя дорогая, и не срами меня больше. Тогда и не будешь меня спрашивать, желаю ли я, чтобы ты от моего имени поднесла цветы Вере Михайловне, и не будешь дожидаться моего ответа. Вот я как тебя сейчас разнес в пух и прах! Ну, ну, не огорчайся, милая, ведь я только так, для пущей важности напустил на себя такой тон. Надо же и тебе немного прочитать морали.

Я только что написал письмо матери, – грустное, но искреннее и простое. Надо же хоть теперь быть простым и искренним.

А нас скоро отсюда отсылают. Сегодня получено извещение от начальника эвакуационного пункта, что на днях нас отправят на запад, должно быть, во Львов. Нас тут заменят другие. Это и хорошо, и нехорошо. Хорошо, потому что ближе к месту событий, больше нового и разнообразного. Хорошо также потому, что материал хирургический будет более свежий, больше простора деятельности медицинской. А нехорошо потому, что письма от вас всех я буду получать неправильно, может быть, совсем не буду получать.

Нет, это не должно быть! Ты, Шурочка, будешь от меня получать правильно. Мне передавали, что из действующей армии письма получаются аккуратно. Только там из России получают с затруднениями, иной раз сразу за целый месяц. Ну, увидим. А пока, дорогая, продолжай мне писать сюда. Я попрошу Зайцева (он теперь назначен старшим ординатором эвакуационного госпиталя) достать их за меня и отправить сразу по данному мной адресу. Так верней будет. Мне и сейчас досадно и обидно, что твоих целых четыре письма пропали!

А мне писала Лени. Она в восторге от всего виденного ею. Больше всего ей понравился въезд на пароходе при лунном сиянии в фиорд Кристиании[94] и Стокгольм. Лондон, по ее словам, слишком уныл и однообразен, Париж слишком уж великолепен, но Стокгольм и красив, и хорош, и благоустроен. Из Парижа она уехала, когда германцы были в 60-ти верстах от него! Отныне думает при первой же возможности вновь путешествовать. Копит деньги.

Прощай, моя милая, моя дорогая.

Воронеж, 21-го сентября 1914 г.

Милая Шурочка. Как хорошо, что ты мне каждый день пишешь! Я теперь получаю ежедневно твои письма как нечто должное, необходимое. Я не ошибаюсь. Вернусь из отделения, а письмо уже дожидается меня. Ты у меня такая хорошая, Шурочка, что и сказать нельзя. Но только нельзя так, чтобы всё твое я переместилось в другого человека, у каждого должен быть и свой собственный, самостоятельный уголок. Впрочем, должен, но не всегда это возможно, а моя Шурочка ведь такая решительная – «всё или ничего». Ну, не будем больше об этом, не надо. Ты у меня есть и останешься, моя единственная хорошая Шурочка, мой добрый товарищ, моя милая женушка.

А ведь смотри, моя милая, какой я, совсем другой, чем ты[95]. Три дня прошло с тех пор, как я получил ту телеграмму, и что же? Я почти спокоен. И это не есть равнодушие, нет. У меня искренни были слезы (у меня, да слезы!), когда я писал письма матери, писал тебе под впечат-

---

[94] В 1877–1924 гг. название столицы Норвегии Осло.

[95] Эту разницу в их мироощущениях подмечала и Ал. Ив. Она с трудом переживала разлуку с любимым, рыдала над его письмами и остро нуждалась в его поддержке. 24 сентября она писала: «Ты спокоен, мой дорогой, и твое спокойствие немного передалось и мне. Я бодрее сегодня, несмотря на адскую физическую усталость! Вот только сейчас смогла присесть – написать тебе письмо, а газета до сих пор и не начата. Я мечусь, хочу облегчить своим товарищам работу и мучусь от своего несовершенства. Вспоминаю тебя, как у тебя всё хорошо и складно выходило. И больно, так больно, что я так отстала от тебя. Ежка, мое солнышко, моя гордость, согрей и освети меня. Да, милый, мы люди разные; у меня и маленькой частицы нет твоей радости жизни, бодрости. И знаешь почему: ты черпаешь их в себе, в сознании своих собственных сил, а у меня, Ежка, нет этого источника… Я что-то всё ниже и ниже опускаю крылья». Свое состояние она передала строчками стихотворения А. К. Толстого:Всё, что не ты, – так суетно и ложно,Всё, что не ты, – бесцветно и мертво.

лением совершившегося. У меня щемило сердце от сознания чего-то непоправимого, чего-то упущенного, а сегодня я почти спокоен, даже шутил и посвистывал, как всегда. Я чувствую, что это событие для меня уже пройденная ступень, что к новым берегам зовет нас новый день.

«И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть!» Как это хорошо, как велико сказано. Если мне придется когда-нибудь умирать, то мое искреннее желание также будет, чтобы смерть моя не служила бы помехой жизни. Да, равнодушия, которое быстро отворачивается от того, что было и кто был, мне не хотелось бы. Против этого протестует всё мое существо. Хотелось бы, чтобы люди, меня знавшие, обо мне вспоминали, но чтобы воспоминание служило бы толчком для бодрости, для деятельности, чтобы невольная тихая грусть не заслоняла бы веру в жизнь, в ее красоту, ее смысл.

Я знаю, Шурочка, что для тебя всё это фразы непонятные и ненужные, что ты не можешь меня в этом понять, что душа твоя протестует против такого желания. Ну, ничего, мы разные, идем разными как будто путями, но только как будто. По существу наши пути всегда и во всем сливаются, и цель у нас общая – прожить вместе наивозможно полную, богатую внутренним содержанием, красивую и общую жизнь! Не так ли? Вот опять расфилософствовался! Скверная привычка, не сердись за это на меня.

Ты меня спрашиваешь, почему я перестал писать о военных событиях. Потому, Шурочка, что приходится повторяться. Основные мысли выяснены, и они остаются. И теперь, как и раньше, мне при чтении газет иной раз кажется, что мы, немцы, в самом деле варвары, недостойные вырожденцы, парии человечества. Я не могу скрывать, что всё то, что приходится читать о разрушении соборов, музеев, библиотек, меня глубоко возмущает, что я теряюсь, не знаю, как объяснить себе всё это. Стараюсь, хватаясь за соломинку, объяснить безумием отдельных начальников, ошибкой, военной необходимостью, чем хочешь. Однако все-таки остается прескверный осадок.

Не могу не назвать прекрасным письмо Роллана к Гергардту Гауптману[96]и теряюсь, не знаю, как объяснить себе молчание Гауптмана[97]. Правда, в столь быстрое превращение Павлов в Савлов, – Гауптмана, Геккеля и других – я не верю, никогда не поверю, что бы ни случилось, пока не выслушаю и их. Но всё же многое остается загадкой. Нехорошо, очень нехорошо! Ведь так, моя Шурочка? Впрочем, что я спрашиваю, – конечно, так, разве моя Шурочка может думать иначе?

Меня сегодня опять вверг в раздумье протест германских писателей и ученых, помещенный в телеграмме Гроссмана в «Русск[их] ведомостях]»[98]. Ведь эти люди глубоко убеждены в своей правоте, они с негодованием отвергают сыплющиеся на них обвинения. А ведь это не шовинисты, не люди, привыкшие преклоняться перед Вильгельмом. Их мнение нельзя так просто отбросить как не имеющее цены, их надо выслушать.

Нет, положительно нельзя окончательно выяснить истину в этой кошмарной войне. Только история, быть может, выяснит ее. Я всю жизнь буду изучать эту войну по документам и материалам, ведь это мое личное дело, ведь мы, немцы в России, здесь вдвойне затронуты: нам больно и обидно и за тех, и за других. Мы любим и ценим и тех, и других… Ох, тяжело, Шурочка! Впрочем, пройдет этот угар – всё это не вечно, а то, что вечно, померкнуть не может!

---

[96] 2 сентября (н. ст.) 1914 г. в женевской газете было опубликовано открытое письмо известного гуманиста, французского писателя и драматурга Ромена Роллана, проживавшего тогда в Швейцарии, к своему немецкому коллеге Герхарту Гауптману. Письмо было написано под впечатлением от сообщения о варварском разрушении немецкими войсками старинного бельгийского города Лувена, богатого произведениями искусства. С чувством глубочайшего негодования Роллан осудил немецкую агрессию против маленькой нейтральной Бельгии, призвав Гауптмана и цвет немецких интеллектуалов энергично протестовать против содеянного преступления. Полностью перевод этого письма был опубликован в «Русских ведомостях» 19 сентября 1914 г. (№ 215. С. 2).

[97] для них, так как страна их стала жертвой какого-то предательского международного заговора, посягающего на самое существование немецкого народа» (Там же. № 217. С. 6–7).

[98] О воззвании немецких интеллектуалов «К культурному миру» см. примеч. к письму Фр. Оск. от 29 сентября 1914 г.

Когда мы выезжаем отсюда, мы не знаем, но вероятно, скоро. Сегодня опять приходили к нам врачи, которые займут наше место. Они заявляют, что у них уже почти всё имеется, и что они дня через два объявят о своей готовности. А тогда нам сейчас же выйдет приказ свертываться. Сколько дней нам дадут на свертывание, тоже неизвестно. Последние дни нам новых транспортов раненых не присылают, доставляют только небольшие группы для освидетельствования в комиссии. Наших пленных я сегодня разобрал, но ни в какие разговоры еще не входил. Карлуша пишет, что пленные германцы очень высокомерны и глубоко уверены в своей победе.

Прощай, дорогая*.

<…> А конвертики, которые мы купили с тобой, уже кончились! Только не привыкай к новому маленькому формату, пиши побольше.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 23-го сентября 1914 г.

Дорогая моя Шурочка. Вчера я тебе не писал – весь вечер был занят проявлением накопившихся пластинок, а после этого устал, и очень хотелось спать. А сегодня я уже наказан, – нет письма от тебя… Между тем, как раз сегодня я рассчитывал получить твой отклик на мое первое письмо после смерти брата. Ну, должно быть, почта по воскресеньям плохо отправляет корреспонденции, и завтра я получу целых два!

Стараясь загладить вчерашнее упущение, посылаю тебе плоды этого вечера – несколько фотографий, относящихся еще ко времени пребывания в Троицкой слободе. Кой-какие снимки я сделал и здесь на новом месте. Пошлю тебе понемножку. Как видишь, у меня опять появилось время для таких занятий. Надолго ли?

Шурочка, не горюй, что нас скоро отправят отсюда. Я ведь буду продолжать писать тебе аккуратно. Мое положение хуже. Я, быть может, почту стану получать очень неаккуратно. Что же касается невозможности твоего приезда сюда, то должен сказать, что и раньше мало верил в эту возможность, как ни хотелось бы, чтобы это исполнилось. В этом вопросе я всё время был пессимистом. Никак не думаю, чтобы тебя отпустили из Морозовской больницы. Не горюй, моя милая, это время настанет, надо только верить. А я верю!

Шурочка! Это не так уж плохо, что твой братишка[99] едет на войну. Конечно, вы будете за него бояться, но с другой стороны, ведь и он прав, говоря, что совестно сидеть дома, когда другие рискуют. И, в конце концов, ведь только значительное меньшинство солдат, попадающих на войну, в самом деле подвергаются ранениям (15–20 %). Впрочем, конечно, не процентами можно тебя успокоить, но всё же он не так уж неправ и правильно сделал, что никого не спросил. Ответ ему был и так ясен, а внутри что-то протестовало, – он послушался внутреннего голоса. Будем верить и надеяться, что вскоре он вернется невредимым.

Ты читала ответ Гергардта Гауптмана?[100] Я должен по совести сказать, что он меня весьма мало удовлетворил, убедительного в нем мало. Одно для меня несомненно, что Гауптман глубоко убежден в правоте своего дела, что он причину войны видит в заговоре всех против одного, в желании конкурентов убить соперника. Моя точка зрения тебе известна: заговора, может быть, и не было, но желание, несомненно, было. Германия, зная это, готовилась к будущей неминуемой войне и провоцировала ее тогда, когда это показалось ей удобным. Всё это роковое, неизбежное! Ради озорства и для своего удовольствия теперь войны не ведутся.

---

[99] Василий Иванович Доброхотов, средний из трех братьев Ал. Ив., тоже врач.

[100] Ал. Ив. в отличие от Фр. Оск. не испытывала никаких иллюзий по поводу позиции Гаупмана и 24 сентября писала: «По-моему, он не мог иначе ответить. А относительно цели войны я вижу полную тождественность его понимания с твоим. Она тоже меня поразила». При этом Ал. Ив. дипломатично воздерживалась от полемики со своим будущим мужем.

Мне нравятся, Шурочка, наши раненые солдатики: народ простой, бесхитростный, искренний и терпеливый. И никакой злобы к врагу. Совсем не то, что мы сейчас видим в широких кругах нашей «интеллигенции».

Сегодня вечером мне положили первых трех пленных австрийцев. Все разных национальностей: один немец, один венгр и один русин! Только русин немножко понимает по-немецки, а то все знают только свой родной язык, друг друга не понимают! Завтра начну с ними знакомиться. Интересно все-таки знать их точку зрения, их отношение к тому, что они видят. Немец, кажется, толковый.

Левитского жена сегодня уехала, и он опять переехал к нам.

Завтра непременно должно быть письмо от тебя. Непременно!

Воронеж, 24-го сентября 1914 г.

Дорогая моя! Ну разве ты у меня не золотая! Только что получил твое письмецо и вот всё, что я могу сказать, что одним словом передало бы полученное впечатление. Что наше горе и твое горе, что твои чувства звучат в унисон с моими, – в этом я не сомневался ни минуты, это аксиома. И эта уверенность так бодрит, так ласкает душу! Да разве может быть иначе? Как чудесно сознание, что вот есть человек, для которого ничто, ничто, меня касающееся, меня волнующее и огорчающее, не безразлично, который для всякого моего чувства находит в себе отзвук, ответное чувство. Милая моя, ты у меня хорошая, единственная и моя, моя! <…>

Писал мне Карлуша из Двинска. Он свой провал в гимназии объясняет только войной: благодаря закрытию немецких школ в его частную гимназию стали перебираться в большом числе переходившие ученики. Получилось переполнение, во избежание которого на переэкзаменовках всех провалили. Кроме того, он сознается, что был весьма ленив. Стечение обстоятельств… В Двинске главное его занятие – развозка огромного количества раненых (до 2000 чел[овек] в день) по лазаретам и разговоры с пленными, у которых он за бесценок скупает всевозможные реликвии как-то: осколки гранат, пули, каски, трубки и т. д. Одним словом, он нашел себе занятие. Новой школой он тоже доволен, утверждает, что там можно кой-чему научиться. Его письмо в общем произвело на меня хорошее впечатление. Он еще выберется на истинный путь, и он неглуп.

Писала мне старушка Мазур[101], благодарила за 30 р. Когда она получила деньги, то у нее как раз осталось только несколько копеек, – значит, вовремя. И мать ей тоже послала деньги, будто бы от моего имени!

Писал мне еще Ал. Аким. Чахмахсазианц, которому я послал несколько открыток. Они себе тоже взяли раненого в дом и очень довольны. Он отмечает прекрасное педагогическое влияние этой заботы о больном на своих ребят. Старший его сынок так и носится с солдатом, желая доставить ему наибольшие удобства. Он тоже весьма огорчен тем тоном, который начинает преобладать в газетах, боится усиливающейся волны ненависти ко всему немецкому. Грязь и помои, широко разливающиеся сейчас, глубоко волнуют и задевают его. Ведь и ему одинаково дороги, потому что одинаково известны, культурные ценности того и другого народа, – и ему больно, горько…

Я думаю, что много сейчас немцев в России, которые переживают эту душевную драму! Нет, мы не поддадимся, мы останемся хранителями старых заветов, нам останутся чужды этот угар, этот туман, застилающий сейчас столь многие интеллигентные головы… Если наши государства воюют, если мы как сознательные граждане выполняем свой тяжелый долг, то мы еще не будем оплевывать всё, что не наше, не затопчем в грязь те ценности, которые раньше признавали!

[101] Елизавета Карловна Мазур, близкий человек семье Краузе, няня Фр. Оск., которой он регулярно помогал деньгами.

Что же касается «немецких зверств», то этот вопрос остается для меня столь же ясным, как и раньше: тут имеется дело с отдельными преступными лицами, которые есть в любой армии, любом народе. Как раз мне сегодня пришлось подслушать разговор наших раненых. Один из них удивлялся тому, что в газетах не пишут о зверствах: «Ну, это и у нас бывает, когда наши к ним в плен попадутся, они им говорят, что мы вас за то, что ваши казаки наших мучают, добивают, – это есть и у них, и у нас отдельные такие».

А другой тут же иллюстрировал: «Взяла наша рота в плен нескольких австрийцев, – ну ведут. Сначала молчим, потом там насчет табаку и всё такое. Одним словом, разговорились. Ничего себе ребята. Тоже и им плохо приходится. Вдруг встречаем патруль казаков: “Кого там ведете?” – “Австрийцев”. Ну, они выхватили шашки и тут же их всех перерубили. Всё равно, и у нас это бывает!»

Характерный разговор, и особенно ценен тем, что пошли рассуждения на тему о том, что вот ведь и они, чай, не по своей воле пошли – погнали. Нешто можно пленных рубить, нешто они нам враги, и т. д.

Прочел я как-то нечаянно в «Русском слове» признание Вас. Немировича-Данченко[102], что из большинства показаний русских, бывших в Германии, явствует, что гонения на них начались лишь после того, как появились сообщения о разгроме Германского посольства в Петербурге…[103] Вот злонравия достойные плоды![104] <…>

Сегодня наш госпиталь осматривали коллеги, которые нас здесь заменят. Должно быть, скоро. <…>

Воронеж, 25-го сентября 1914 г.

Милая Шурочка. Сегодня опять нет от тебя писем. Я уже начинаю немного огорчаться. Принесли мне сегодня днем телеграмму. Я опять испугался, недоумевал, но к счастью на этот раз ничего неприятного. Из Риги меня извещали, что «письма получили, писали, все здоровы». Очевидно, они мне несколько дней не писали, не было времени, и вот теперь хотят пока успокоить. Спасибо им за это, но телеграмм я теперь боюсь, – я бледнею и сердце сжимается.

Разговаривал я сегодня с нашим пленным австрийцем, расспрашивал его относительно настроения у них. Он рассказывает, что начата война была с воодушевлением, ненавидели сербов. Когда же война разгорелась, а в особенности, когда их стали теснить в Галиции, то настроение стало подавленным. Единственная надежда у них – Германия! Относительно пресловутых зверств он высказывается таким образом, что единичные случаи бывают и с той, и с другой стороны, но в общем, особенных разговоров у них относительно этого не бывало, начальство их русскими зверствами не пугало. Он сам был свидетелем такой сцены: он раненый лежал в кустах, а в некотором отдалении от него их раненый сержант с мольбой простирал руки к наступающему казаку, – тот же, невзирая ни на что, изрубил раненого. Наш пленный, однако, не обобщает этого факта, считает его единичным, редким; соглашается, что и со стороны австрийцев бывают подобные же случаи.

Был он также свидетелем того, как казаки вырубили целый лазарет, забирая пленными раненых, в том числе и его[105]. Он отмечает, что отношение к ним, пленным в России со стороны наших солдатиков очень хорошее, теплое, такое, какого они никак не ожидали.

---

[102] Немирович-Данченко Василий Иванович (1849–1936), писатель, военный корреспондент, брат известного театрального деятеля Вл. И. Немировича-Данченко.

[103] Русские подданные в Германии подверглись особенно сильным гонениям в первые дни войны. Погромы посольств неприятельских стран происходили не только в России. 22 июля в Петербурге было разгромлено германское посольство, и в тот же день в Берлине толпа разгромила британское посольство.

[104] Восклицание Стародума из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

[105] В этом утверждении содержится очевидное противоречие: если раненым сохранили жизнь, то нельзя сказать, что «казаки вырубили целый лазарет».

Спросил я его относительно разрывных пуль[106], и он рассказал мне следующее: в начале войны каждому запасному солдату выдано было по 10 разрывных учебных пуль, причем перед полком прочитывался приказ никоим образом не употреблять их перед неприятелем. В их полку полковник от себя прибавил, что если он заметит стрельбу этими патронами в русских, то виновный сейчас же будет расстрелян.

А назначение этих пуль такое: ими производится учебная стрельба, – падая на далеком расстоянии и разрываясь, они поднимают столб пыли и этим указывают перелет или недолет. Быть может, всё это так, но раздававший эти патроны должен быть очень наивным, чтобы поверить, что они не будут пущены в ход как боевые. Давать солдату страшное оружие в руки и требовать, чтобы он им не пользовался! Мы здесь видели (да, должно быть, и вы) целый ряд ран, характер которых указывает на употребление разрывных пуль. Одному солдату я сам извлек из кисти руки всю скомканную тонкую пулевую оболочку. К сожалению, это доказательство не сохранилось, затеряли.

Есть у меня в палате очень несимпатичный, грубый и капризный солдат. Про него его товарищи говорят, что «вот кто там зверства делает. Вы его спросите, что он там делал с австрийскими женщинами. Истинный зверь!» Надо будет расспросить подробности. Надо знать всё, разбираться во всем, чтобы быть беспристрастным. Ты видишь, Шурочка, как я стараюсь выяснить истину. Ведь это дело – мое личное дело!

Последние дни нам новых раненых не кладут, становится их всё меньше.

Прощай, моя милая, дорогая!

Твой Ежик.

Воронеж, 26-го сент. 1914

Золотая моя Шурочка. Сегодня сразу получил два твоих письма от 22 и 23/IX. Такие они оба хорошие! Такая ты у меня хорошая! Только грустные они, мало в них веры в будущее. А это нужно, так нельзя. Припомни, Шурочка, май и июнь этого года, когда тебе так не верилось в возможность нашей совместной поездки, когда ты так отчаивалась, так страдала, и мало мне удавалось тогда тебя утешать. Ты мне не верила, ты всё сомневалась. И что же? После этого мы все-таки провели две чудных недели вдвоем, и как хорошо провели, как безмятежно. Много бы я сейчас дал за одну какую-нибудь комариную ночь на острове Нагу!

А помнишь, как тогда комары тебя раздражали, ты уже падала духом, а я всё старался поддержать этот дух указанием на то, что в воспоминаниях они не будут иметь решающего значения, что останется только всё светлое и хорошее. И ведь я был прав! Так поверь же мне, моя Шурочка, поверь, что и эти твои страдания, поскольку они зависят от утраты веры в будущее, не так уж основательны, что это будущее, хорошее светлое будущее, оно будет, и тогда твои теперешние сомнения предстанут перед тобой в таком же виде, как и сомнения в мае и июне! Поверь хоть немножко, моя дорогая!

А что касается писем, которые придется писать, не зная, дойдут ли они по назначению, то и это не так уж страшно. Наши солдатики говорят, что письма до них доходили, только поздно и помногу сразу. А мать мне пишет, что письма одного нашего родственника, прапорщика в Галиции, доходят правильно. К тому же, Шурочка, мы будем ведь не на передовых позициях, которые быстро меняют местоположение, а в тылу, быть может, даже во Львове. Это совсем меняет картину.

Во всяком случае, моя милая, еще слишком рано ставить крест на нашей переписке. По меньшей мере, мои письма будут доходить правильно, твои, быть может, с опозданием. Важно,

[106] Употребление разрывных пуль ввиду их высокого поражающего действия исключалось международными договорами, подписанными на Гаагских мирных конференциях в 1899 и 1907 гг.

чтобы моя Шурочка была бы моей, а ее Ежик остался бы ее! Вот это важно, а в этом ни ты, ни я не сомневаемся. Ведь так?

Посылаю тебе еще ряд фотографий, сегодня приготовленных, чтобы ты ясно могла себе представить, где и в каких условиях мы здесь работаем. Вчера целый день шел проливной дождь, было холодно, а сегодня чудесный теплый светлый день. Вот я и воспользовался и напечатал. Ты показывай снимки и нашим коллегам, пускай не забывают. А я всё еще собираюсь и никак не соберусь написать Бор. Абр. и Близ. Адр. Завтра напишу тебе о выяснившихся теперь условиях нашей работы здесь. Они оставляют желать многого! Впрочем, мы еще повоюем!

В посылке, присланной матерью, оказались главным образом теплые шерстяные вещи, о которых мать сама пишет, что «ты, должно быть, их не наденешь, но все-таки сохрани на всякий случай. Если же увидишь, что они тебе совсем не нужны, то пожертвуй раненым». Затем много всяких сластей, консервов и т. д.

Прощай, дорогая, не падай духом!*

Почему ты перестала в письмах отмечать, какие мои письма ты получила?

* Далее приписка на полях письма.

Воронеж, 27-го сентября 1914.

Милая Шурочка. Сегодня я получил три письма. Все три женские, от разных по характеру людей. И все-таки они оставили одно основное впечатление, которое меня охватило по прочтении. С какими удивительно хорошими людьми судьба дала мне столкнуться в жизни, и какое хорошее не по заслугам отношение к себе я вижу! Писала мне ты, моя Шурочка, Вера Михайловна и сестра Лени. Писали о разном: ты обо мне всё больше, Вера Мих. о тебе, а Лени об умершем брате. А основной тон всех этих писем – удивительная простота и искренность. Какие вы все хорошие люди!

Только, моя милая, ты никогда больше не должна упоминать о какой-то твоей отсталости по сравнению со мной. Это неверно. У тебя, Шурочка, наоборот, куда больше всяких положительных знаний, а у меня только верхи, ведь я никогда серьезно не работал. У меня кругозор немного шире благодаря знанию лишнего языка и другого школьного образования, – но и только. Это тебе кажется, что я больше знаю. Для меня этот вопрос ясен. Ну, не будем больше спорить.

Вере Михайловне передай мое большое, большое спасибо и низкий поклон за ее письмо. Она меня глубоко тронула им. Какая она славная, золотая! Недаром Никол. Иван, в своем письме мне отзывается о ней так тепло. Есть же люди, золотое сердце которых не сразу доступно взору посторонних, но если раз в них поверишь, то вера эта уже не пошатнется.

Писала мне еще Лени, – грустное письмо. Они моего письма еще не получили, но Лени чуть ли не в тех же выражениях пишет о том же, о тех же чувствах, тех же переживаниях… И снова меня охватило это чувство, и горько, и обидно стало не душе. Пишет сестра об обилии цветов, об искренней скорби всех знавших брата, о подавленном настроении дома, о чувстве сплоченности и солидарности семьи, которое невольно рождается. Пишет она и о том, что мать все-таки не выдержала сильного напряжения и слегла после смерти брата. Был, очевидно, снова приступ желчной колики. <…>

Милая Шурочка, как мне хочется, чтобы и ты поскорей узнала мою мать, ведь она удивительная женщина. Ты ведь знаешь, что я объективен по отношению к своим родным. Это не мое только мнение, а всех ее знавших и знающих.

Милая моя, ты пишешь, что тебе хочется моей непосредственной близости, а мне, Шурочка, разве не хочется? Я тоже могу воскликнуть, как и ты: ух как хочется! Я сегодня был в бане и чистый, чистый. Эх! Хоть бы комариную ноченьку с острова Нагу сейчас! Ей Богу, на комаров не роптал бы, пускай кусаются!

Твой Ежик.

Воронеж, 28-го сентября 1914 г.

Дорогая моя Шурочка! Конечно, и я помню тот вечер после заседания Об[щест]ва д[етских] вр[ачей]. Только я не помнил число. Да, хороший был вечер, и еще более хорошая была ночь. Как давно мы с тобой знакомы, что у нас уже есть так много общих золотых воспоминаний!

А мне обидно, что фотографии тебе не понравились. Я старался-то, главным образом, для тебя. И неужели я так непохож? Здесь все говорили, что похож, но, конечно, ты более компетентна. Не им судить.

Почему, моя милая, ты теперь так легко устаешь, так часто болит голова? Боюсь тебе что-либо советовать, ты советы всё равно забракуешь. А как твоя отчетность? Всё благополучно?..

Ты читала 26-го сент. в Р. В. фельетон «На Марне»?[107] Автор категорически отказывается верить в варварство немцев, и я не могу сказать, чтобы его доводы были неубедительны. Наоборот, мне кажется, что он прав, – простая логика.

Но где теперь и у кого искать способности мыслить логически! Таких людей сейчас почти нет.

Вчера вечером мы получили приказ «немедленно свертываться». Еще днем от нас отобрали почти всех больных, осталось 12 на весь госпиталь. Понемногу начинаем складываться, однако не верим в наш быстрый отъезд отсюда. Привыкли разочаровываться! Сегодня говорят, что нас по свертывании и сдаче госпиталя преемникам отправят пока что опять в Троицкое, ждать дальнейшей судьбы. Там уже сидит снова один из наших госпиталей. В таком случае мы опять поедем в «Бристоль», только не туда! Улита едет, когда-то будет!..

Если тронемся, дам телеграмму. А письма здесь после меня получит Зайцев, которого я просил после сообщения ему мною точного адреса переслать. Так они не затеряются, хоть поздно, но дойдут.

Хотел тебе писать относительно главного врача. У него тенденция по возможности превратить госпиталь в канцелярию. Ввиду телеграмм из Петербурга, рекомендующих экономию, он выдачу перевязочного материала и лекарств ограничил до minimum'a, у нас на перевязках накладывается та же вата и те же бинты!!! Боже сохрани ампутировать палец или извлекать пулю. Ведь тогда нужно больше материала, а этого не должно быть. Ergo – такие больные пересылаются в другие госпитали (земский) или эвакуируются. У нас же остается история болезни и много всяких записей в разных книгах в канцелярии. Бензин[108], нашатырный спирт и т. д. у нас не покупаются, запасы (100,0— 150,0) истощены, а пополнить будто бы не из чего.

Но это неправда, суммы имеются. У нас на каждого больного в день полагаются 34 коп., выходят же только 27 коп. Как мне Петр Петрович [Марков] сам сознался, у него уже имеется излишек в несколько сот рублей. А из излишка должны быть покрыты стирка и добавочные приобретения в аптеку! Он сам дает другим врачам совет, где дешевле всего можно закупить запасы перевязочного материала, но сам не покупает. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность представить бумажку: я-де сэкономил там, где другие тратили. А другие госпитали имеют всё.

У меня уже несколько дней лежит больной с тяжелым scabies'ом (чесоткой. – *Сост.*) без всякого лечения: у нас нет даже серного цвета![109] Отправить его нельзя. На мои просьбы

---

[107] Автор фельетона, эсер-интернационалист Н. И. Ракитников высказывался против огульного обвинения немцев в варварстве и жестокости. «Я знал, что немецкий солдат, как и всякий другой, есть прежде всего простой рабочий человек, оторванный от своей семьи, от своего занятия; что в среднем один из трех-четырех является если не социалистом, то социалистическим избирателем», – писал Ракитников (Русские ведомости. 1914. 26 сент., № 221. С. 5).

[108] Бензин использовался для обезжиривания кожи при перевязке.

[109] Очищенная сера применялась для уничтожения чесоточных клещей.

купить хоть самое необходимое ответ: мы не можем выходить из наших узких границ! Тогда я третьего дня купил на свои деньги несколько необходимых средств (с согласия Левитского) и во время обхода предложил ему, если он хочет, принять на счет госпиталя, мотивируя тем, что с пустыми руками лечить не умею. Он счет (3 р.) отверг и резким тоном (в первый раз) просил без его ведома ничего не выписывать и не употреблять ничего, чего нет в нашей аптеке! Мы с Левитским промолчали (при сестрах!), но отношения коренным образом изменились. С тех пор с ним ни слова! Мы еще повоюем! Не запугает!*

Ты, Шурочка, по этому поводу не горюй. Не стоит того. Я всё же не думаю, чтобы он нас осилил. Он, по существу, трус и боится скандала. Не мы, а он пардона запросит.

* Далее приписки на полях письма.

Воронеж, 30-го сентября 1914 г.

Дорогая Шурочка. Сегодня получил твое умное, умное письмо, от которого тебе самой стало скучно. А мне не скучно было – так много интересных новостей, касающихся товарищей. Они все работают там, на месте, а мы где-то в самом последнем тылу. Ну, и мы, должно быть, в конце концов, двинемся. Ты, Шурочка, не должна огорчаться моим желанием быть ближе к делу. Это так естественно, ведь совестно сидеть здесь.

Аты, Шурка, стиля письма не выдержала до конца. Под конец пишешь: «Отступать от такого умного разглагольствования, хотя и хочется, но не буду…» Хотя и хочется! Вот и выдала себя с головой. И очень хорошо сделала, а то, правда, немножко сухо и непривычно получается.

Получил я еще длинное письмо от матери. Так хотелось бы прочесть тебе. Знаешь, Шурочка, я всё рисую себе в воображении, что когда мы будем опять вместе, мы с тобой прочитаем по очереди все письма, нами друг другу написанные, и таким образом восстановим весь ход наших теперешних переживаний. И так будет хорошо еще раз с птичьего полета посмотреть на прошедшее, теперь так волнующее.

Передать письмо матери своими словами невозможно, его надо читать самому. Скажу только, что оно бесконечно нежное и грустное. Припадок желчной колики у нее прошел, и она чувствует себя совсем здоровой. Поэтому и телеграмма, они боялись, что письмо ее меня уже здесь не застанет. Брат погиб от прободного перитонита…

Ты, конечно, читала обращение к обществу наших литераторов, ученых, артистов и художников по поводу немецких жестокостей[110]. Что на это скажешь? Я вот что скажу: да, протестовать против разрушения памятников старины и искусства надо, и должны протестовать именно литераторы и художники. Но я имею дерзость утверждать, несмотря на ряд крупных и всеми уважаемых и ценимых имен подписавшихся, что протестовать так, то есть трафаретными вульгарными напыщенными фразами, столь неубедительными, – это значит в корне подрывать то дело, которое защищаешь.

Перед пламенным протестом Роллана я преклоняюсь. Он не только искренен, он делен и убедителен. А наши? Они пишут такую безвкусицу как: «Германия возвращается к алтарям тех жестоких национальных богов, для победы над которыми воплощался на земле Единый Милосердный Бог»; «низкая обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке»; «уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что 15 веков

[110] Среди деятелей литературы, искусства и науки, подписавших обращение с призывом обуздать немецкую агрессию, милитаризм и жестокость, были: И. А. Бунин, Е. Б. Вахтангов, А. М. Горький, А. А. Кизеветтер, П. Н. Сакулин, Л. В. Собинов, К. С. Станиславский, П. Б. Струве, В. М. Фриче, Ф. И. Шаляпин, А. А. Яблочкина и многие другие (Русские ведомости. 1914, 28 сент. № 223. С. 6). Поводом для данного обращения послужило воззвание «Ккультурному миру» 93 немецких интеллектуалов, в числе которых были 58 профессоров. В воззвании они отрицали все обвинения в адрес Германии и всецело оправдывали милитаризм, без коего, по их утверждению, немецкая культура была бы стерта с лица земли. Впоследствии абсолютное большинство подписавших это воззвание сожалели о своем поступке.

тому назад задавили своей тяжкой пятой античное наследие»; «кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди»; «мрак, в который добровольно вступила Германия». А рядом с этим – слезливо-сентиментальные рассуждения и вздохи на тему о том, что «Германия отрекается от всего великого и прекрасного, что было создано гением ее на радость и достояние всего человечества».

Если верить всем газетным рассуждениям, то получается такая картина, что Германия внезапно перешагнула какую-то черту и из великой, гениальной сразу превратилась в низкую кровожадную варварскую страну. Не верю я в такие исторические метаморфозы, всюду рассеян и мрак, и свет. Бывают времена, когда мы больше внимания обращаем на одну, другой раз – на другую сторону. И я понимаю, если наши литераторы преувеличивают отрицательную сторону, но я не понимаю, как люди искусства и литературы могли дать свою подпись под такую аляповатую, лубочную статью, – явный признак дурного вкуса! Я это утверждаю, несмотря на громкие подписи. Удивительно, каким смерчем проносится война через головы даже людей, которые должны бы стоять выше этого!

Твой вояка Е.

Воронеж, 30-го сентября 1914 г.

Милая Шурочка. Вот ты и не выдержала характера. Тон твоего сегодняшнего письма опять напоминает прежние. Хотя в одном отношении я отмечаю несомненный прогресс, который меня очень, очень радует – нет мрачных ноток, нет безнадежности. Вот таки надо. Спасибо, спасибо! <…>

Ты думаешь, что характер Веры Мих. сложился под влиянием богатой беззаботной обстановки, не давшей ей разочароваться в людях. А я думаю, что это врожденная способность, ведь ей пришлось пережить много огорчений и разочарований, – недаром у нее так рано седеют волосы, – и пережить в такие годы, когда особенно доверчива душа. И все-таки она не потеряла веру в людей, любовь к ним! Нет, это врожденная счастливая способность быть всегда хорошим человеком при всяких условиях!

Наши дела здесь дошли до точки замерзания: сегодня мы окончательно свернулись и передали свои обязанности сводному госпиталю. Что будет с нами дальше, не знаем, ждем распоряжений. Мы даже не знаем, куда девать нашу команду. Пока все сидим на старых местах. Говорят, что нас тут, в Воронеже, продержат еще 10 дней. Вполне возможно. Мы перестали верить в быстроту наших передвижений.

Отношения с нашим начальством остаются такими же, вернее, отсутствием всяких отношений. Мы друг с другом не говорим ни слова. Левитский отвечает только по вопросам службы, только Покровский немного иной раз поддерживает беседу. В общем, за столом почти полное молчание.

Вчера у нас капитан, заведующий эвакуационным пунктом, принимал претензии команды. Но этой команде гл[авным] вр[ачом] уже заранее даны были вполне точные указания, и поэтому допрос для него сошел благополучно. Когда же капитан обратился к нам с вопросом, не имеем ли мы каких-нибудь претензий, я хотел ему тут же в присутствии главного] вр[ача] заявить относительно недостатка во всяких материалах и средствах, и поэтому дипломатично спросил его: «Личные претензии или вообще о недостатках?» Но капитан не сообразил и снова сказал: «Конечно, личные ваши претензии. Получили жалованье?» На это я уже не мог ответить иначе, как «Личных претензий нет». Но Петр Петрович понял, он так и впился в меня глазами. С товарищами я поговорил до этого, и они хотели меня всецело поддержать. На этот раз не вышло. Ну что же, мы еще повоюем!

Ты меня как-то спрашивала, верю ли я, что война скоро кончится. Я на это могу сказать только: не верю. Если в начинающейся сейчас битве на Висле мы победим и будем победоносны и в дальнейшем, то, может быть, к весне война окончится. Но я вполне допускаю в последние

дни возможность нашего поражения. А тогда? Тогда в два месяца будет разгромлена Франция, как и Бельгия, и тогда всё будет зависеть от нашей настойчивости. Во всяком случае, война тогда затянется. До сих пор ведь немцы ведут победоносную войну, несмотря на отдельные наши успехи. Мне даже не верится теперь, что мы попадем во Львов. Я боюсь, что австрийцы не дождутся нашего приезда и вновь возьмут его. Печально!

Воронеж, 2-го октября 1914 г.

Милая, дорогая Шурочка! Я тебе вчера не писал вот почему: днем писал отцу, поздравлял с днем рождения, а вечером пришел Зайцев, и мы засиделись. Впрочем, и от тебя я вчера писем не получал, а только сегодня от 28/IX. Мне кажется, что и ты не получила одного моего письма. По крайней мере, ты ни словом не упоминаешь о фотографиях, которые я тебе послал через день после первой партии.

Милая моя! Я ведь тоже хочу к тебе, мне ведь тоже тошно стало без тебя! Я себе представляю иной раз тот счастливый вечер 1-го июля, когда мы с тобой сидели в вагоне, а поезд нас мчал в Финляндию, к Нагу, и мне так страшно хочется повторить эти ощущения, эту светлую бодрость и безмятежность, это полное единение с любимым человеком! Но я глубоко верю, что это повторится. Может быть, не скоро, но это будет, может быть, не на Нагу, без комаров, не в шхерах, а где-нибудь в другом месте, на Кавказе, в Крыму, за границей, я не знаю где, но будет!

И ты, моя золотая Шурочка, тоже должна верить, не должна уподобиться герою стихотворения Cdsar'a Flaischlen[111], помнишь: «…u. verzagen die Wolken… Was fromt, sags, die Sonne и т. д. u. einen trьbe verwarteten Herzen mitleidiger Liebe versрdteter Kranz…»[112] Ты помнишь? Нет, ты не должна думать, что уделом нашим будет жалкий венок запоздавшей любви. Не запоздавшая и увядшая, а наоборот, вдвое, втрое пышнее распустившаяся, в ожидании созревшая, в общем несчастье окрепшая… Ты веришь? Я верю.

И я тоже, Шурочка, как и ты, прочитывая по окончании письма к тебе, часто остаюсь недоволен. И мне тоже кажется, что сказано не то, что надо и не так, как надо. Но ты, Шурочка, напрасно думаешь, что ты неясно выражаешь свои думы. Просто невозможно в письме всего того передать, что хочется, многое остается недосказанным, только намеченным, но общий смысл того, что ты хочешь сказать, Шурочка, конечно всегда понятен, ведь я тебя знаю и понимаю по намекам.

Сейчас, в то время как я тебе пишу, рядом со мной сидит Левитский и с воодушевлением и ожесточением занимается произношением французских слов, громко их повторяя с невозможным акцентом. Он вчера купил себе Туссэна-Лангеншейдта на русском языке и теперь с раннего утра до ночи занимается произношением, а я его всё время поправляю и наставляю. Вот видишь, ты и не думала, что я гожусь во французские учителя!

Завтра утром мы уезжаем из епархиального училища, должно быть, в «Бристоль». По одним слухам, мы в Воронеже останемся только еще 4–5 дней, по другим – не меньше десяти. Мне кажется более вероятным последнее, в быстроту я перестал верить. Говорят, что нас отправят не во Львов (австрийцы едва ли дождутся нас), а в гор. Броды, маленький пограничный австрийский городок. Попадем ли мы туда, или Броды у нас выйдут вроде Бара, кто это знает? А пока опять будем ждать…

Очень не нравится мне сейчас расположение армий на Висле, боюсь разгрома. Я начинаю допускать мысль, которая раньше казалась совсем невероятной, что германцы в итоге могут победить. Во всяком случае, ничего радужного не вижу. Неужели я вдруг превратился в этом пункте в пессимиста?

Прощай, моя милая.

---

[111] Флейшлен Цезарь Отто Гуго (1864–1920), известный немецкий поэт-лирик.

[112] «„.и грустят облака… Что трепещешь, скажи, солнце… и смутно ожидает сердце жалкий венок запоздавшей любви…»

<…>

Воронеж, 3-го октября 1914 г.

Милая Шурочка. Пишу тебе из «Бристоля», куда мы сегодня переехали. Комната небольшая, но уютная. Я тебе пишу, а рядом со мной Левитский долбит: эн повр ом, эн повр анфан[113], а я его всё поправляю. Он очень увлекся французским, и ему изучение доставляет большое удовольствие. Я тоже сегодня опять принялся слегка за то же самое. Но, грешен человек, лень берет. Нет во мне постоянства. Или есть?

Получил сегодня твое письмо от 29-го, где ты пишешь о прогулке на Ноевскую дачу[114] и о получении фотографий. Чангли-Чайкин[115], кажется, ничего себе человек, хотя и служит ассистентом внутренней клиники у Статкевича и Изачика[116]. Впрочем, он рассказывает о постоянных стычках, которые у них там бывают. Один плюс за ним, несомненно, имеется: он с большой критикой и недоверием относится ко всем газетным сообщениям, касающимся войны.

Твоя характеристика сестер [милосердия] правильная. Кокетка – полное ничтожество. Зато около нее усиленно увивается главный врач. Дело доходит до смешного, они себе с ним позволяют весьма многое. Другая сестра скромней, веселей, без претензий, хозяйка. Старшая сестра – старая ведьма, от которой несет табаком и камфарой, особа ядовитая, разочарованная в жизни.

Очень хорошие отношения у нас с Левитским. Он хороший, неглупый человек, хотя на провинциальный манер. Многого не знает, но желал бы знать многое. Необходимо знание языков, и вот он взялся за изучение французского, не веря в возможность для себя одолеть немецкий. Он бывший семинарист, кончил в Томске [университет]. Там же кончила и его жена. Никогда раньше не изучал языков. Покровский тоже ничего себе парень, но он глупей, необразованней, немножко бурбон, любитель женского пола, но товарищ и он хороший.

Так жаль, что наш главный портит наш квартет. Наши отношения остаются молчаливыми. Левитский же и Покровский в особенности не умеют ставить вопрос принципиально, то есть либо хорошие товарищеские отношения, либо сухо формальные, по обязанности. Нет-нет и заговорят о чем-нибудь постороннем. Они как-то не чувствуют так обиду, что товарищ, хотя и старший, позволяет себе некорректности, грубости. Они как-то не чувствуют так, что надо бороться с таким чисто формальным отношением к интересам больных, с полным пренебрежением их нужд и требований! Ну да Бог с ними!..

Что ты скажешь по поводу «призыва» германских литераторов и ученых?[117]Правда, полного текста еще нет, может быть, и не будет, и потому трудно судить. А ты читала в номере от 2-го октября статью Кареева об их деятельности в Берлине?[118] Получается совсем другое

---

[113] Un pauvre homme, un pauvre enfant (*франц.*) – бедный человек, бедное дитя.

[114] Ноевская (Ноева) дача на Воробьевых горах, по имени владельца московских цветочных лавок, купца Ф. Ф. Ноева, приобретшего в 1883 г. бывшую старинную барскую усадьбу для промышленного цветоводства, в 1910 г. была выкуплена Московской городской думой для устройства общественного сада.

[115] Пантелей Федорович Чангли-Чайкин, врач.

[116] Профессор кафедры физиологии медицинского факультета Московского университета, доктор медицины Павел Григорьевич Статкевич и вольнопрактикующий доктор медицины Александр Борисович Изачик устроили частные Женские медицинские курсы на Кудринской (ныне Баррикадной) улице в Москве.

[117] Имеется в виду воззвание «К культурному миру».

[118] Война застигла в Германии десятки тысяч русских подданных, которые оказались в безвыходном положении, не имея возможности уехать на родину, а подчас – и средств для дальнейшего проживания за границей. Многие из них подверглись унижениям, истязаниям и арестам. Среди русских подданных в Германии был выдающийся историк и социолог Николай Иванович Кареев, лечившийся в Карлсбаде. Он обратился с просьбой помочь ему и его соотечественникам вернуться на родину к своему немецкому коллеге, курляндскому уроженцу, выпускнику Дерптского университета, профессору Берлинского университета Теодору Шиману, пользовавшемуся влиянием в политических кругах и личным расположением кайзера. Хотя Шиман слыл русофобом, он живо откликнулся на эту просьбу. Благодаря его деятельному участию в Берлине была организована работа по возвращению русских подданных на родину. Большую помощь в решении этого вопроса оказало посольство Испа-

впечатление, чем от столь многочисленных и столь мало убедительных прежних сообщений. [Чангли-]Чайкин тоже удивлялся тому, что даже Маклаков в свое время, несмотря на, в сущности, весьма неубедительный фактический материал, позволял себе столь резкие суждения[119]. Он тоже говорит об угаре, охватившем нашу интеллигенцию.

Меня тревожит наше молчание относительно состояния дел у Вислы. Когда мы молчим, дела всегда идут скверно.

Получил сегодня открытку от Ал. Аф. Оказывается, что он мою открытку в действующую армию получил 22/IX и тотчас же мне ответил. Вот видишь, значит, письма доходят, хотя и поздно. Он всё еще сидит в Черкассах, раненых мало.

Относительно нашей ближайшей судьбы ничего неизвестно.

Твой Ежа.

<…>

Перед самой отправкой на фронт Фридрих Оскарович на несколько часов, вновь без разрешения начальства, вырвался в Москву, чтобы попрощаться с невестой. 7 октября госпиталь выехал из Воронежа в западном направлении.

Ворожба[120]*, 8-го октября 1914 г.**

Вот уже прошел волшебный, но столь краткий миг, и мы опять далеко друг от друга, милая моя женушка. Ну, ничего. Я всё же очень, очень рад, что видел тебя хоть минуточку. Я теперь спокоен, я теперь верю, что моя милая, моя дорогая Шурочка достойно и бодро перенесет разлуку, дух ее крепок. Ведь так, Шурочка? Ты теперь будешь более спокойно, более бодро смотреть на будущее, будешь верить, как и я…

А я путешествую, и не видно конца путешествию. Всё в вагоне да в вагоне, трясет и качает. Из Москвы до Воронежа я устроился очень хорошо, взял плацкарт и ехал вдвоем в купе с раненым под Сувалками[121] подпоручиком. Он мне рассказал много интересного. Так, например, относительно зверств он говорит, что это одинаково с обеих сторон, что во время боя как-то не до гуманности. Он видел примеры жестокости и с той, и с другой стороны. Поляки к русским относятся хорошо, помогают, евреи – плохо, они за того, кто победит. Их дивизионный генерал собственноручно застрелил пять евреев, которые подавали сигналы неприятелю и у которых были найдены карты и планы. Был в Сувалках и небольшой еврейский погром, устроенный поляками и солдатами. Правда, потом отобранное было возвращено.

Есть на позициях иной раз совсем не приходится по три-четыре дня. Подвоз провианта весьма плохой, приходится дорого платить за продукты, бывает мародерство. С другой стороны, когда до сведения верховного] главнокомандующего] дошло, что две роты какого-то полка забрали провизию, не заплатив, то [он] приказал тут же расстрелять обе роты вместе с офицерами. В общем, мы обыкновенно расплачиваемся деньгами, немцы же явно мародерствуют, грабят магазины. По крайней мере, так было в Сувалках.

Немцы берут артиллерией, они буквально засыпают снарядами каждого отдельного человека, от штыка же удирают. У них артиллерия подвижна, на автомобилях. У нас этого нет, но

нии. Об этом Кареев, в частности, рассказал в своих статьях: «Пять недель в немецком плену» (Русские ведомости. 1914. 12 сент., № 209. С. 5) и «Наша работа в Берлине» (Там же. 1914. 2 окт., № 226. С. 5).

[119] Николай Алексеевич Маклаков (1871–1918), министр внутренних дел, позволял себе голословные утверждения об измене и участии русских немцев в антироссийском заговоре.

[120] Станция Ворожба Московско-Киево-Воронежской ж. д., в Сумском уезде Харьковской губернии.

[121] Город на северо-востоке Царства Польского, в местах ожесточенных боев во время Варшавско-Ивангородской операции.

в смысле храбрости наши куда выше. В гибели двух корпусов Ренненкампф[122] не виноват, а виноват Жилинский[123], с которого Н. Н.[124]сорвал погоны и отдал под суд. На месте Жилинского теперь Рузский[125] на прусском фронте, а на месте Рузского – Радко Дмитриев[126]. Много мы с ним говорили на военные темы…

В Воронеж приехал в 6-м часу утра. Покровский мне рассказал, что П. П. узнал про наш отъезд [в Москву], говорил с ним по телефону, но предложил ему самому распутаться во всем. Если мы прибудем вовремя, то он сделает вид, что ничего не знает. Так и вышло. Левитский приехал вместе со мной, и мы успели покончить со всеми делами. Были у Зайцева, разбудили его и потащили с собой на вокзал.

Перед этим я зашел еще на почту и получил два твоих письма от 3-го и 4-го и одно письмо Эдит, где она пишет, что здоровье матери сейчас удовлетворительно, но что всё еще она слаба. <…>**

Все говорят, что мне в любви везет. Так ли? А?

Поезд трогается, прощай! Целую много раз!

* Письмо написано карандашом.

** Далее приписки на полях письма.

11-го/X

Милая Шурочка.

Пишу из Волочиска[127]. Сейчас отходит почтовый поезд. Только что узнал, что сюда можно адресовать «до востребования», гор. Волочиск Волынской губ. Сегодня напишу тебе длинное письмо. Еще не устроились.

Вчера поздно вечером приехали. Послал тебе и матери по телеграмме. Уже третий звонок.

Тут совсем, совсем не то, что в России, совсем другой дух. Никто не смеется.

Твой Е.

Волочиск, 12-го октября 1914.

Миленькая моя Шурочка. Ну вот, наконец, могу опять беседовать с тобой. Пишу тебе рано утром, кругом все еще спят. Пишу со скрежетом зубовным – холодно адски. Впрочем, расскажу всё по порядку.

Писал я тебе со станции Ворожбы. Всё ближе мы подъезжали к Киеву. Пейзаж тебе знакомый, для меня же отчасти новый. Оригинальны длинные ряды пирамидальных тополей вдоль линии железной дороги, в особенности при скудном освещении на какой-нибудь захолустной

---

[122] Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918), генерал – адъютант, генерал от кавалерии, георгиевский кавалер, командующий 1-й армией Северо-Западного фронта.

[123] Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918), генерал от кавалерии, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта. Обвинялся в серьезных просчетах, неумелом руководстве и несогласованности действий 1-й и 2-й армий фронта, вследствие чего был признан одним из главных виновников поражения русских войск в Восточно-Прусской операции и 3 сентября смещен со своего поста.

[124] Николай Николаевич (Младший) (1856–1929), великий князь, внук Николая I, дядя Николая II, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, верховный главнокомандующий сухопутными и морскими силами Российской империи (1914–1915).

[125] Рузский Николай Владимирович (1854–1918), генерал, командующий 3-й армией Северо-Западного фронта, с 3 сентября 1914 г. – главнокомандующий армиями фронта.

[126] Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (Радко Рус ков Димитриев) (1859–1918), болгарский и русский генерал от инфантерии, с 3 сентября 1914 г. командующий 3-й армией Северо-Западного фронта, смещен с этого поста 20 мая 1915 г., после сокрушительного поражения при Горлице. Впоследствии командовал 12-й армией, расположенной в районе Риги.

[127] Город на западной границе Российской империи, ныне в Хмельницкой области Украины.

станции ночью: кругом всё тихо, в вагонах спят, слышен только непрекращающийся шелест сухих листьев и вырастают два фантастических ряда серебристых великанов…

Что меня еще поразило, так это увядающая природа, осень на полях и в лесах. Какое богатство оттенков в окраске листвы: от светлого, соломенно-желтого до темно-бурого! Увидишь с высоты насыпи издали леса в осеннем уборе и поймешь, что значит «золотая осень». А общий ржавый оттенок полей и лугов, перерезанный черными полосами свежевспаханного поля! А уныло-бурое пятно одиноко стоящей березки на фоне яркой зелени молодых озимых полей! Какая красота! Какое богатство!

Можешь себе представить, Шурочка, как я был восхищен, подъезжая к Киеву! Тебе знакомая картина, я же вижу его впервые. Да, чуден Днепр в ясную погоду и роскошен город Киев! И опять-таки всё это в рамке золотой осени! Остается только поставить ряд восклицательных знаков!!!

К глубокому моему сожалению, нам в Киеве пришлось остаться только два часа. За это время мы вдвоем с Левитским старались посмотреть как можно больше. Проехались по всему Крещатику, поднялись на гору над ев. Владим. (Свято-Владимирским собором. – *Сост.)* и обозревали оттуда роскошные виды на Подол! Проехали мимо университета, были в Десятинной церкви. На Крещатике заходили в ряд магазинов и пополняли запасы, закупили что нужно. А затем дальше…

В Проскурове[128] мы оставили 3 госпиталя, а сами в единственном числе поехали дальше, всё ближе к границе. Всё больше и больше менялись картины на станциях, народу всё меньше, почти одни только военные. Да и самый пейзаж менялся, всё реже и реже становились хутора, всё пустынней местность. То и дело встречались поезда с ранеными и пустые обозные. Долгие остановки на разъездах, в полях. Таким образом, только к 8-ми часам вечера третьего дня мы приехали в Волочиск. На станции только военные, раненые, сестры милосердия. Разговоры только о войне. Смеха нет, все серьезны, даже угрюмы. Здесь уже вполне чувствуется война. На платформе товарной станции трофеи: австрийские пушки, мортиры, обозы.

С самого же начала у нас завязался разговор с одним полковым врачом, получившим отпуск на две недели – у него контужена нога и сильный ревматизм. Он нам рассказал много интересного, чего в письме, к сожалению, не передашь… Одно для меня стало ясно, что борьба ведется со страшным ожесточением, что условия кампании весьма тяжелые, по утверждению офицеров, бывших в Манчжурии, даже тяжелей японской кампании, и что мы во всяком случае победим, хотя, вероятно, не раньше, чем через год! Кровь течет широкой рекой, и много еще крови будет пролито… Наша работа здесь будет едва ли многим разниться от работы в Воронеже, та же эвакуация… Будем наматывать свежие бинты на старые…

Первую ночь по любезности коменданта станции мы спали в его квартире. Вчера утром П. П. поехал к начальнику эвакуационной части на ту сторону Збруча, в австрийский Подволочиск[129]. Я же утром отправил тебе и матери две аналогичные телеграммы и бросил письмецо с указанием моего адреса в почтовый вагон. На всякий случай повторю его: гор. Волочиск Волынской губернии, до востребования. Затем я написал длинное письмо матери, которой не писал с 1 – го октября.

Пообедали. Затем с Левитским пошли смотреть отведенные нам казармы. Там уже стоял какой-то подвижной госпиталь, но нам он из обстановки ничего не оставил: голые стены и порядочная грязь. Три этажа. Пошли в рядом стоящие казармы того же типа, где уже устроился другой госпиталь. Те устроились хорошо, у них и чисто, и уютно. Полтора этажа у них заняты хирургическими и полтора – терапевтическими больными. Работы, говорят, много. Имеется здесь и госпиталь с заразными больными…

---

[128] Ныне город Хмельницкий, районный центр Хмельницкой области.

[129] Ныне поселок городского типа в Тернопольской области Украины.

Аптека в соседнем госпитале пополнена из аптеки, имеющейся в австрийском] Подволочиске, отданной в полное распоряжение госпиталей. И мы тоже думаем оттуда попользоваться. Впрочем, нам сегодня П. П. объявил, что он нас в перевязочных и иных средствах стеснять не будет, так как подписывать придется не ему, а начальнику эвакуационной части. Хоть это хорошо.

Стали мы смотреть отведенные нам квартиры. Это оставленные офицерские квартиры рядом с казармами. Небольшое здание, одноэтажное. Двери приходится взламывать, так как ключи утеряны. Квартиры грязные: солома, мусор, щепки, несколько поломанных стульев, табуреток, чудом уцелевший небольшой комод, на котором я сейчас тебе пишу, – вот и всё.

Холод страшный, дров нет. Стали мы с денщиками устраиваться, повычистили, перетаскали вещи, распределили, раздобыли всякие щепки, остатки оконных рам, этажерок, всякий мусор и этим затопили несколько печек. Затем нам прислали наши кровати и тюфяки, прислали ночники, и вот – квартира готова. Поставили самовар, напились чаю и как будто немного согрелись. Было уже поздно, и мы легли спать. Накрылись чем только можно было. Ну, ничего, выспались хорошо. Надо же привыкать к военной обстановке. В траншеях лежат и совсем без всякого прикрытия… Вчера же к вечеру стали из вагонов выгружать госпитальное имущество и переносить в казармы. Сегодня мы, должно быть, вчерне устроимся.

В настоящий момент я сижу без денег, задолжал товарищам 55 р. и тебе 22 р. Впрочем, мы здесь скоро будем с деньгами. Здесь оклады значительно повышены, всего мы будем получать около 200 р. К тому же, и «лошадиные деньги» не оказались мифом. Переезжать нам здесь не на чем, извозчиков нет. Все удивляются, почему мы без лошадей. Отыскали теперь какой-то приказ 1914 года, по которому и нам полагается, – и нам на днях выдадут. Купим себе лошадку и тележку.

П. П. говорит, что поочередно нас будут командировать то обратно в Жмеринку за перевязочным материалом, то во Львов за получением жалованья. Впрочем, идут слухи, что нас здесь оставят не слишком долго, а пошлют во Львов. Поживем – увидим. А пока постараемся здесь устроиться возможно лучше. Передай привет коллегам, в особенности Вере Мих.

Целую тебя много, много раз, моя дорогая, ненаглядная, милая Шурочка.

Твой вояка Ежик*.

А ты заметила, что формат писем стал еще больше? Это я в Киеве купил бумагу и конверты.

* Далее приписка на полях письма.

3.

Волочиск, 12-го октября 1914 г.

Милая моя Шурочка. Пишу тебе за день второе письмо. Вот видишь, какое усердие!

Утром я имел крупный разговор с П. П. относительно выдачи жалованья. Мы всё сидим без денег. Левитскому и Покровскому он отказал выдать вперед. Тогда пошел я, как бы тяжелой артиллерией. Говорили мы громко и резко. Попрекнул он нас московской поездкой, но в конце концов согласился нам выдать вперед жалованье за октябрь без походно-порционных (3? р. в д[ень]), которые надо особо выписать. Получу значит 90 р. Из них отдам Покровскому 40 и Левитскому 15[130]. Как видишь, я всё такой же неисправимый.

Затем, после разговора, пошли все мирно в казармы устраивать наш госпиталь. Зашли еще раз к соседям, где и П. П. нашел всё прекрасным. Решили свой госпиталь устроить совсем

[130] По-видимому, карточные долги.

на такой же манер. Отдали все нужные распоряжения смотрителю и пошли на вокзал обедать. Обед скверный. Насилу достали «Киевскую мысль», прочли последние известия, – мало интересного. Как тебе нравятся манифестации московских и киевских студентов?[131] Впрочем, ответ ясен…

Во всем районе военного положения запрещены московские газеты[132]. Говорят, что здесь можно получить «Новое время», «Речь», «День», «Киевскую мысль», «Киевлянин» и «Одесские новости». Вот и всё. От Р. В. придется волей-неволей отказаться. Но я попрошу тебя сообщать обо всем более или менее интересном, волнующем, что в них встретится. Не хочу порвать связи с московскими газетами.

После обеда мы пошли в местечко (не город) Волочиск: население наполовину малороссы, наполовину евреи. Прошлись по главной и единственной улице и пошли дальше, по направлению к границе. Шли мы версты четыре, пока не дошли до самого местечка Волочиск (где мы живем, это станция). На рыночной площади перед большим и красивым костелом много народа, бойкая торговля. Для нас всё это очень интересно. (Мы шли втроем с Лев[ицким] и Покр[овским].)

Затем спустились вниз к реке Збруч, загороженной плотиной, образующей большой пруд. На другой стороне плотины – австрийский Подволочиск. В общем, та сторона мало разнится от этой. Дома всё же чище и больше, а публика, несомненно, чище, лучше одета. Но, в общем, разница небольшая. Целый ряд домов представляет груду развалин. Это наша артиллерия расстреливала какой-то австрийский поезд. Другие дома покинуты, стекла выбиты, внутри пусто, двери открыты. Кое-где видны еще остатки австрийских почтовых ящиков, почти совсем разбитых. Много свежих русских вывесок. Костёльная улица переименована в Николаевскую и т. д. Много солдат-ополченцев. Внутри вокзала на стене мы нашли еще остатки немецкого объявления о мобилизации. Странное впечатление получается от завоеванного местечка.

Обратно мы поехали с санитарным поездом, везшим 750 чел. раненых! Железнодорожный мост наполовину разрушен, ведет только одна колея. На нашей стороне сожжены австрийцами дотла два-три здания казарм недалеко от границы.

Вот наши первые впечатления от войны.

Когда мы вернулись домой, нас П. П. огорошил сообщением о полученной им телеграмме: отправить немедленно одного из младш[их] ординаторов в распоряжение начальника] эвакуац[ионной] части в Подволочиск с багажом. Мы все поняли, что одному из нас придется оставить госпиталь и отправиться неизвестно куда. Но вскоре недоразумение разъяснилось – оказалось, что врач необходим только на несколько дней, чтобы помогать при перевязках на вокзале. Ведь сейчас идут горячие бои. Отправляется завтра Покровский. А я уж собирался ехать*.

Прощай, милая, дорогая. Не грусти, не тужи. Верь в яркое солнце, которое нас ждет впереди.

Писал, а запивал при этом чаем с твоим вареньем!

Эти лепестки мака сорваны в поле по дороге, недалеко от границы. Такой красный!

---

[131] Патриотические манифестации студентов состоялись в Москве, Петрограде, Киеве и других университетских городах в связи с высочайшим утверждением 2 октября 1914 г. Положения Совета министров от 30 сентября о привлечении на службу в войска студентов, пользовавшихся отсрочками до окончания учебы.

[132] Некоторые московские газеты запрещалось читать солдатам и в госпиталях. Например, Ал. Ив. в письме от 25 октября 1914 г. сообщала: «Сегодня была у меня Аня, рассказывала о своих раненых солдатах. Господи! как им не хочется идти на войну второй раз. Рассказывала, между прочим, о ревизии госпиталя членом [городской] управы и запрещении солдатам читать “Русские ведомости” и “Русское слово”. Можете читать “Голос Москвы” (газету партии октябристов. – *Сост.*). – Как тебе это нравится?». Аня, младшая сестра Ал. Ив., приехала в Москву из Вичуги на курсы сестер милосердия, по окончании которых работала в госпитале. По приезде она рассказывала, «что в деревне глубоко убеждены, что пришло второе пришествие (ведь все слова Апокалипсиса сбываются), только не могут решить, кто Антихрист: Вильгельм или Николай II» (1 августа).

Буду тоже нумеровать свои письма. Это третье. Первое, написанное вчера наспех в одну страницу, другое – длинное в 8 страниц сегодня утром.

* Далее приписки на полях письма.

Волочиск, 13-го октября 1914 г.

Милая Шурочка. Сегодня у нас был тихий день, никаких событий. Разве только, что Покровский утром, собрав свои вещи, уехал на несколько дней в Подволочиск помогать на станции при перевязках. Мы же ничего не делаем. Отдавали только кой-какие приказания по устройству госпиталя. А днем валялись на кроватях. Левитский опять твердит: эн арбр, ля шез[133] и т. д. Он очень настойчив, он научится французскому языку, а у меня будут всё только добрые намерения… Читал «Киевскую мысль» и «Одесские новости». Газеты хорошие, мне они по первым прочитанным номерам нравятся, только непривычно.

Жду с нетерпением того времени, когда опять начну получать твои письма. Как мне хочется опять держать свежий нераспечатанный конверт в руках и вкушать предстоящее мне удовольствие! Ну, подожду, ведь это будет скоро! Только что написал открытку Зайцеву в Воронеж. Он мне перешлет твое письмо от 5-го и письма из Риги, если они получены. Написал также и Ал. Аф. в Черкассы. Может быть, открытка еще застанет его там.

Новых известий сегодня нет ниоткуда, никаких новых слухов. Понемногу устраиваемся. Наши казармы находятся приблизительно в версте от станции и местечка Большой плац, на котором высятся красные угрюмые трехэтажные казарменные здания. Ветру есть где разгуляться на воле, просторно! Кое-где в отдалении видны ряды осенних деревьев, а в одном углу всей этой площади помещается церковь. Людей почти не видно.

Живем совсем одиноко. Вся наша компания разместилась в трех небольших квартирах по две комнаты. В одной – Левитск[ий], Покр[овский], аптекарь и я, в другой – сестры младшие и П. П., в третьей – наша столовая и старшая сестра. Видим друг друга почти только за обедом, который с сегодняшнего дня опять устроили дома. И хорошо так, – общего у нас с другими ведь очень мало. Только Покровский дружит с сестрами или, вернее, с одной сестрой. Ну, его дело молодое!

Погода тусклая, серая, хотя и без дождя. Как только выглянет солнышко, сделаю ряд снимков, чтобы ты могла бы себе представить внешние условия нашей жизни.

Как поживаешь ты, моя Шурочка, моя милая женушка? Как твое настроение? Я так сильно надеюсь, что тон твоих писем будет бодрый, полный веры в будущее. Только не было бы реакции после радости нашей встречи, только не было бы серого отчаяния, безверия! Ведь всего этого нет, не правда ли, Шурочка? Ты должна разгладить морщиночки на своем челе, а не прибавить новые!

Доходят ли до тебя мои письма? Мне здесь говорили, что почта отсюда отправляется аккуратно и на четвертый день письма получаются в Москве. Так ли? Дошли ли до тебя вчерашние лепестки мака? Он был такой красивый, ярко-красный, одинокий в сером поле, слишком ярок для грустных красок осени! Какой-то живой анахронизм, вестник бывшей красоты, прошедшего лета! Невольно напрашивается мысль о том, что вырос он такой яркий, вспоенный кровью павших здесь первых жертв этой ужасной войны. Это не литературный оборот, нет. Здесь как-то невольно приходят в голову именно такие мысли, здесь это более понятно, чем где-нибудь в Воронеже. Все-таки здесь чувствуется уже тяжелое дыхание войны, более непосредственно воспринимаешь ее ужасы.

Ну, прощай на сегодня, моя дорогая. Спи хорошо, будь умницей.

---

[133] Un arbre, la chaise (*франц.*) – дерево, стул.

[5.]

Волочиск, 14-го октября 1914 г.

Милая Шурочка. Только что вернулся с совместной с Левитским прогулки по окрестностям Волочиска. На этот раз мы пошли, удаляясь от границы. Вышли за казарменный плац на большую дорогу. Там так хорошо: виден простор полей, так бодряще веет свежий осенний ветерок. По краям дороги опять ряд высоких тополей, а по дороге тянутся гуськом длинные вереницы пустых телег. Так мирно, так тихо! Пошли мы полями, пока не увидели вдали всё тот же Збруч, а на берегу его хохлацкую деревню. Это такая живописная картина! Мы долго любовались белыми и коричневыми мазанками, тесно сдвинутыми в кучу. Куда милей и красивей, живописней Малороссия нашей средней полосы.

Тебе всё это знакомо, я же видел Хохландию только один раз, когда прожил на даче в Воронежской губернии[134] четыре летних месяца. Должно быть, хорошо иметь хутор где-нибудь в Полтавской губернии! И народ такой приветливый, простой! Ты не удивляйся, Шурочка, что я тебе в последних письмах пишу больше о впечатлениях, полученных от природы и населения. Меня сейчас это больше всего занимает и трогает. Тут для меня много нового в этом отношении.

Осмотрели мы еще водяную мельницу примитивного устройства. Так наивно-просто стучали колеса, мололи жернова, и так просто сыпалась мука в подставленные мешки. Всё для меня ново, интересно. Зашли мы также в небольшой винокуренный завод, где управляющий-поляк любезно и вежливо нам показал всё внутреннее устройство и объяснил все детали. Одним словом, мы и с пользой и приятно провели время. Решил я непременно вернуться туда с фотографическим аппаратом, но конечно, самого главного, тонов и красок, снимок передать не может. Получится только весьма бледная копия.

Так хотелось гулять там не с Левитским, какой бы он ни был хороший человек, а с моей милой, единственной Шурочкой, которая увидит то же, что и я, и с теми же чувствами, теми же глазами! Ну, это еще будет, всё в свое время! Посылаю тебе один красно-бурый осенний листочек. Вообрази себе много-много таких листьев, яркой рамкой окаймляющих хохлацкую деревушку, белые мазанки, – и ты получишь небольшое представление о нашей прогулке.

Только что зашел Покровский, привезший сюда поезд с ранеными из Подволочиска. Он рассказывает, что он там работает без перерыва уже с 5-ти часов вечера вчерашнего дня, не спал и не обедал. Ежедневно через Подволочиск проходят около 2000–3000 раненых, часто в невозможных условиях, прямо с позиций. Сейчас в Галиции идут весьма упорные бои у подножия Карпат, и этим объясняется такое количество. Даже офицеры прибывают сюда в теплушках в страшной грязи, со спешно наложенными на поле битвы повязками. Работают на эвакуационном пункте не покладая рук. Тамошние врачи утверждают, что такое обилие работы у них чуть ли не с начала войны, иной раз по три ночи не спят.

А мы опять развертываемся и никак не развернемся. Сейчас у нас в госпитале белят стены в перевязочной и операционной. Я боюсь, что до нашей полной готовности пройдет еще неделя! Увидим.

Вчера успел еще написать длинное письмо Карлуше. Вообще писать я научился в эту войну. Пишу по крайней мере много*.

Начинаю опять слегка заниматься по-французски.

Прощай, милая.

Твой Е.

---

[134] В Воронежской губернии малороссы составляли более трети населения, в некоторых уездах они значительно преобладали, например, в Острогожском уезде они составляли 90 % населения, в Богучарском – 82 %, в Бирюченском – 70 %.

* Далее приписки на полях письма.

6.

Волочиск, 15-го октября 1914 г.

Мы всё еще стоим на той же точке замерзания, развертываемся… Конца этому развертыванию пока не видим. Сами же мы бездельничаем. Французский язык медленно подвигается вперед. Вышли с Левитским за ограду казарм, сделали несколько фотографических снимков большой дороги. Снялся я и сам под хорошеньким можжевельником в позе буки, недотроги, – одним словом, ежиком! Боюсь, что не выйдет, но замысел хорош, верно? Про то, как осень хороша и в саду, не буду говорить. Это значило бы только повторяться!

Заехал опять на несколько часов Покровский. Рассказывает, что за последние две недели через Подволочиск проследовало 20.000 раненых, а в то же время через Броды 30.000 человек! Убитых за это время в Галиции насчитывают 10.000!!! Эти цифры так красноречивы, что говорят сами за себя, комментарии излишни… Хорошо по крайней мере то, что в перевязочных средствах недостатка нет.

У нас уже второй день хворает сестра, какое-то желудочно-кишечное расстройство. Само по себе это, конечно, малоинтересно, но характерно то, что мы об этом узнали только случайно сегодня от ординатора другого госпиталя. Она лежит, ее лечит сам П. П., но сообщить коллегам он не считает нужным! А между тем говорят, что он подозревает аппендицит. Дает касторку, ставит согревающие компрессы!!! Сидит у нее почти безвыходно (захворала сестра кокетливая!). Если он уйдет, то ее начинает «тошнить», и П. П. усердно прибегает. Другие сестры слоняются тем временем по другим комнатам. Сидел у нее также долго Покровский, мрачный и угрюмый. Неприятно всё это, так пошло, мелочно и неглубоко! Да ну их!

Сегодня в «Киевской мысли» прочел перепечатку из Р. В. о безобразиях в Москве[135]. Что тебе сказать на это? Скажу только одно: мне так больно, так обидно, что даже не удержался от слез. Шурочка, неужели первоначальному глубокому порыву всех общественных классов суждено выродиться всё более и более в мелкий и пошлый шовинизм?! Неужели и в самом деле слова об освободительной цели войны так и останутся пустыми словами! Неужели только большой, большой минус в культурном отношении будет окончательным итогом всей этой войны?! Всё больше теряется вера, всё больше деятельность здесь становится тяжелым долгом, обязанностью, и всё пламенней стремишься к скорейшему окончанию войны[136].

Ты, конечно, читала о публичном выступлении членов Московского философского общества[137]. Какая путаница понятий! Какие взаимные противоречия! Какой хаос мыслей!

---

[135] Проходившие в Москве 10–11 октября патриотические манифестации по случаю побед русской армии и призыва студентов в войска вылились в уличные погромы, битье стекол и нападения на магазины и конторы, принадлежавшие людям с немецкими фамилиями, в результате чего пострадало около 30 немецких торговых фирм.

[136] Еще до получения этого письма Ал. Ив. предвидела, как отнесется к московским погромам ее Ежа, и разделяла его чувства; «“И больно, и стыдно отмечать такие факты”, – пишут “Русские Ведомости” по поводу недавних погромов в Москве. А я, Ежа, скажу, что противно всему моему существу это подлое фарисейство, негодующее против немецких зверств на войне и устраивающее еще более позорные погромы здесь, в мирном городе. Неужели можно поверить в невозможность предотвратить всё это? И всё это началось с демонстрации “хранителей идеалов” и поддерживалось торжественными крестными ходами. Можно ли из религии, – красоты жизни, – делать ширму для сплочения темных сил?! Газету я начинаю читать с таким чувством, как будто открываю ящик с шевелящимися гадами. Боже, когда всему этому конец! И знаешь, милый, я думаю, что волна человеконенавистничества еще долго не смолкнет и после войны. Ты прав, мой родной, в своем пессимизме. Я чувствую в этот момент, как ты тоже будешь глубоко страдать при чтении сегодняшнего 235-го номера газеты. Я с тобой, мой милый, в этом состраданье» (12 октября).

[137] Заседание Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева проходило 6 октября в Большой аудитории Политехнического музея, которая была переполнена и не смогла вместить всех желающих; толпы людей, не сумевших достать билета, осаждали музей. Вступительное слово произнес председатель общества, литератор и философ Г. А. Рачинский, с докладами выступили Е. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков, В. И. Иванов и В. Ф. Эрн.

Ведь додумался же Эрн утверждать, что без Канта немыслим был бы и Крупп![138] Это он утверждает про того Канта, основным моральным учением которого было: никогда не видеть в ближнем своем только средство, а всегда самодовлеющую цель! Это в Канте он отрицает идеализм, у него нашел восхваление грубой силы!

Хорош и Булгаков, противопоставляющий пангерманизму – панславянизм, славянофильство; вместе с Германией осуждающий и Францию, и Англию![139] Если так рассуждают наши философы, то чего же ждать от низов?! Тогда и битье стекол становится понятным, слишком понятным! Да, грустные мысли невольно приходят на ум*.

Ну ничего, Шурочка, не огорчайся. Нас с тобой этот вихрь, этот хаос не коснется. Мы останемся, какими были. Будь умницей. Твой Е.

* Далее приписки на полях письма.

8.*

Волочиск, 18-го октября 1914.

Милая моя Шурочка. Третьего дня у нас было лето, вчера ненастная осень, а сегодня с утра инеем покрыта земля, – зима. Вот какая быстрая смена. Холодно! Хотя печи и топятся изрядно, но пол холодный, дрожим. Впрочем, грех жаловаться нам, когда в окопах сейчас лежат миллионы без всякого прикрытия!

Начала воевать с нами Турция![140]

Еще дальше отодвинулся момент возвращения домой, к Шурочке, к работе… Так уж устроен человек, что даже мировые события рассматривает под углом зрения личного своего счастья и несчастья. У меня всё больше крепнет убеждение, что громадный минус в культурном отношении будет единственным итогом всей этой чудовищной войны! Как ты думаешь?

Я тебе сегодня послал телеграмму с просьбой выписать нам «Русские ведомости» до востребования с 1 – го октября до 1-го января. Хотим также попросить тебя выписать нам и «Русское слово» (не для меня, конечно) с 1 – го ноября, тоже до конца года. Прости, что на тебя сваливаем такую скучную миссию, но ведь ты это сделаешь охотно? Выяснилось, что до востребования здесь можно получить все газеты.

Сегодня от тебя письма не было. Значит, будет завтра. Получил я сегодня впервые открытку от Вилли. Удостоился. По обыкновению, он весьма краток: поздравляет (с днем рождения. – *Сост.)*[141], жмет руку; рад в будущем, когда кончится вся эта история, не раньше июня-июля будущего года, увидеться со мной и побеседовать о прошедшем; советует записывать всё интересное, характерное. Я из этих строк только понял, что он желает что-то выяснить, узнать истину. Да, сильно должно затронуть всё, что связано с этой войной, нас, немцев в России.

Сегодня шутя немного повозился с коллегами, началась сильная одышка. Вообще мне кажется, что в последнее время одышка у меня опять начинает усиливаться. Попросил Левит-

---

[138] В своем докладе философ и публицист В. Ф. Эрн утверждал, что «внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа». По его мнению, реализация национальной идеи, глубинной национальной мечты породила германский милитаризм. В подтверждение своих слов Эрн ссылался на самих немцев: «Под заявлением о безусловном тождестве германской культуры с германским милитаризмом подписывается цвет немецкой науки и немецкой философии» (Русская мысль. 1914. № 12. Разд. 2. С. 116–124). Доклад вызвал широкое общественное обсуждение, а его название («От Канта к Круппу») стало крылатым выражением.

[139] Известный философ, экономист и богослов С. Н. Булгаков в докладе «Русские думы» подчеркивал, что война явилась прежде всего плодом национально-экономического соперничества, погони за территорией, рынками и сферами влияния, борьбы за мощь, богатство и мировую гегемонию. России он отводил роль защитницы правды и свободы (Там же. С. 108–115).

[140] 16—17 (29–30 и. ст.) октября 1914 г. турецкий флот под командованием немецкого адмирала Вильгельма Сушона начал военные действия на Черном море, подвергнув бомбардировке Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск.

[141] В норме левая граница сердца находится кнутри от нее.

ского исследовать. Он нашел увеличение размеров сердца, слева на полпальца за mammilaris (сосковую линию. – *Сост. у,* затем аритмию и некоторую слабость тонов, без акцента, у основания ему даже послышался небольшой шумок. Да, придется примириться с мыслью о хроническом миокардите со всеми его прелестями: одышкой, расстройством компенсации, водянкой и т. д. Наложила на меня печать Морозовская больница![142]

Наш госпиталь туго продвигается вперед, должно быть, и завтра мы не откроемся. Зашел к нам сегодня комендант станции, очень симпатичный прапорщик, и рассказывал много интересного о первых боях до Гнилой Липы[143], в которых он участвовал, а также о порядках в госпиталях, в которых он лежал. Последую совету Вилли и буду записывать.

Был сегодня в бане. Загар с острова Нагу продолжает держаться без изменений. Я думаю, что до конца войны со мной останется это воспоминание о прекрасных днях…

Опять играл в преферанс, проиграл много денег, каюсь.

Фотографии печатаются медленно, по несколько дней каждый снимок. А малороссийские хаты вышли премило!

Сколько я тебе сегодня всяких фактов сообщил, а для души ничего! Ну уж прости. Как-то иной раз выходит так, в другой раз эдак.

Прощай, моя милая. Целую много, много раз. Пиши.

Твой Ежик.

* Предыдущее письмо утрачено.

9.

*Волочиск, 19-го октября 1914.*Ну вот, Шурочка, я дождался и второго твоего письма. Милая, пиши каждый день. Так хорошо, когда с уверенностью можешь себе сказать: сегодня получу письмо от своей Шурки. У нас сейчас довольно нудно. Я даже заметил, что я сегодня впервые скучал, самым обыкновенным образом скучал! Как-то не хотелось ни читать, ни заниматься, ни даже в потолок плевать. С остервенением играли в преферанс, но удовольствия не получил и здесь.

Погода серая, нудная, и вот твое письмо! Это прямо манна небесная после 40 дней, проведенных в пустыне. Почаще бы этой манны! И ты пишешь так хорошо, так ласково! И так хочется к тебе, быть с тобой, сознавать твою близость, твое бесконечно хорошее влияние на меня… Когда это будет? А пока кругом только холод, дождь и ветер, – не яркая золотая осень, а осень бури и непогоды, поздняя ненастная осень! Вот видишь, и я немного подпал под влияние окружающего, но думаю, что ненадолго. Это невольная реакция на вынужденное бесполезное сидение. Как только начнется работа, кончится и уныние. А работы не будет и завтра.

Мы, кажется, закончили оборудование госпиталя. Но в последние дни отмечается некоторое затишье в Галиции, уже два дня не везут раненых. А завтра П. П. уезжает на несколько дней во Львов за жалованьем (20-е число!). Это, конечно, столь важное дело, что отказываться от него для открытия госпиталя никак невозможно! Так что мы откроемся, должно быть, не раньше четверга.

Ты пишешь так соблазнительно: хочешь прислать мне посылку, готовишь мне подарки, говоришь даже о возможности своего приезда сюда… Было бы так хорошо! Ты спрашиваешь,

---

[142] Работая в Морозовской больнице, Фр. Оск. в 1912 г. заразился и переболел дифтерией в тяжелой форме с последующими осложнениями, включая миокардит. Подробнее о его работе в Морозовской больнице и отношении к политике см.: *Краузе Ф. О.* Из записок детского врача // Медицина России в годы войны и мира: Новые документы и исследования. СПб., 2011. С. 61–88.

[143] В сражении на р. Гнилая Липа (левом притоке Днестра) 16–18 августа русская армия одержала победу над австро-венгерскими войсками.

где здесь можно остановиться. Здесь есть какие-то «Петроградские номера». Говорят, что там жили и врачи, но насколько там прилично, не знаю. На всякий случай нужно справиться.

Ты, Шурка, только не приезжай внезапно, лучше раньше сообразоваться с нашей работой, заранее сговориться. А как было бы хорошо!.. В Подволочиске более прилично, но оттуда сообщение не всегда правильное. Я бы коллегам показал свою женушку, а ты бы посмотрела, какие у меня коллеги. Ну, это еще впереди.

Ты мне хочешь прислать теплые вещи. Мать тоже пишет, что хочет сделать то же. А нам стало теплее. Мы сегодня замазали окна, топим печи по два раза вдень, – и не так холодно, стало даже тепло. Я думаю, что теплые вещи мне сейчас не нужны. У меня имеется теплое белье, есть и шерстяная вязаная фуфайка. Вот о каких прозаических вещах я тебе пишу. А сладости всякого рода мы примем с превеликой благодарностью, не откажемся.

Ты, Шурочка, укоряешь меня за то, что я напомнил о своем долге. Я этого не помню. Во всяком случае, если и напоминал, то не в смысле сознания своих обязательств по отношению к тебе, а просто при арифметических расчетах.

От матери тоже получил сегодня письмо, пересланное из Воронежа. Она пишет, что смерть брата видимо сплотила всю семью, что отношения всех стали более мягки и сердечны. Артур успел вполне помириться с Гуго, сознал свою неправоту. Это все-таки значительный плюс в нашем большом минусе…

Николая Ивановича [Скворцова] за его поздравление и память я поблагодарю лично письмом. Вообще мне грех жаловаться на отношения к себе коллег, верно ведь? Целую.

Твой Е.*

Страшно хочется слушать хорошую музыку!

* Далее приписка на полях письма.

10.

Волочиск, 20-го октября 1914.

Сегодня почему-то от тебя нет письма! Я сам пошел на почту, но потерпел неудачу. Ну, должно быть, завтра получу целых два. С отчаяния целый день резался в преферанс. Так и знай: если ты пропустишь день, я в наказание буду играть в карты! Придется тебе из двух зол выбирать меньшее и писать аккуратно.

Зато получил опять из Риги две открытки, от Артура с женой и от Эдит. Вот видишь, возьми с них пример, они меня стали прямо-таки бомбардировать письмами.

Зашел в «Петроградские номера», спросил о ценах. Маленькое каменное двухэтажное зданьице, внизу лавки, наверху несколько комнат по полтора рубля. Хозяева, евреи, утверждают, что номера чисты, а там кто его знает. А я на всякий случай уже подготовляю почву, сообщаю всем, что женат и громко спрашиваю себя, не выписать ли жену сюда в Волочискхоть на недельку. Когда еще это будет, но ведь будет?!

Сегодня приехал сюда один коллега из другого госпиталя, из Львова. Он встречает свою жену, которая завтра утром должна приехать. Он рассказывает, что во Львов сейчас совершенно запрещен въезд частных лиц, и что ему пришлось выпросить разрешение у Бобринского[144] на одну неделю. Без особенного разрешения не пропускают даже жен к раненым мужьям-офицерам.

[144] Бобринский Георгий Александрович (1863–1928), граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-губернатор Галицийского генерал-губернаторства.

Здесь в Волочиске мы находимся еще в России, и здесь законы общероссийские. Почта здесь тоже получается исправно, не цензурированная. Письма же из Львова и адресованные туда просматриваются почти все военной цензурой. Адресованные в действующую армию получаются с опозданием в полтора месяца! Сейчас почти все госпитали во Львове свернулись, нет работы. Всех раненых теперь почти сразу эвакуируют в Россию. Это и лучше, там всё же условия более благоприятны. Блажко тоже еще находится во Львове.

Уехал сегодня П.П., и никто об этом не сожалеет. Мы же продолжаем сидеть в бездействии. Впрочем, львовский коллега рассказывает, что они там тоже работали только одну неделю, что больше 50 человек зараз у них не было. Это за три месяца войны! Мы и то работали в Воронеже целых три недели. Этот же коллега рассказывает, что ему удалось как-то получить командировку в Москву, – сопровождать транспорт раненых австрийцев. Благодаря этому он провел в Москве два дня. Если бы можно было и мне так устроиться!

А во Львове считают, что война теперь, после открытия военных действий Турцией, продлится еще два года! Я этому не верю. По-моему, она закончится самое позднее будущим летом.

Вот я тебе пишу, а рядом пишет Раф. Мих. Левитский. Это удивительно, как быстро он пишет письма, в 10 минут он успевает иногда написать два длинных письма. Он аккуратно ежедневно пишет своей жене. Мы иногда друг над другом подтруниваем. Но теперь он очень огорчен, – нет писем от жены! Почему-то ни он, ни она не получают ничего, обмениваются телеграммами. Не хочу я, чтобы твои письма затерялись. Не должно этого быть!

Милая, ты мне готовишь подарки, выдумываешь, как бы получше встретить при возвращении! Хорошая моя, как я хочу к тебе! Какая ты у меня все-таки единственная! Прощай дорогая.

Твой Ежик.

Волочиск, 22-го октября 1914 г.

Милая, дорогая Шурочка. После двух дней перерыва я наконец сегодня получил сразу два твоих письма и одну вырезку из газеты. Наконец-то! А я всё ждал да ждал. Мне как-то не по себе последние дни. Опять сильно дает о себе знать сердце, усиливается одышка, при малейшем движении чувство стеснения в груди, постоянная тахикардия. Даже после умывания общая слабость. Всё это так напоминает мне первые два месяца после дифтерита, опять период слабости сердца. Это, конечно, опять всё улучшится, явления опять станут минимальными, как эти два года, но всё же! Нехорошо всё это. Так это унизительно для человека, если его благосостояние зависит от его тела, что немощное тело может отравлять ему жизнь.

Началось после бани. Я порядочно парился, усердно мылся. Придется все-таки привыкнуть к мысли, что я человек уже не нормальный. Придется избегать по возможности всякой физической работы в более или менее крупном масштабе, лыжи и теннис сдать окончательно в архив.

Ты, Шурочка, пишешь, что для меня далеко сейчас всё, что связано с Морозовской больницей. Нет, наоборот, всё это мне близко бесконечно, и всё более далеко становится то, что делается здесь и дальше, на войне. Всё это становится мне всё более безразличным. Я начинаю не видеть смысла и цели во всем, что происходит здесь. Всё это становится чуждым, не своим, и хочется в Москву, вернуться к привычной и дорогой работе. Может быть, всё это от нашего глупого, бессмысленного бездействия и кончится, как только начнется постоянная работа, но сейчас мне нудно и скучно. Да, Шурочка, я не боюсь высказывать громко эти слова, как будто бы мне несвойственные.

Погода унылая, делать нечего, люди слишком знакомы, тело немощно, и вот – не то чтобы дух стал не бодрым, но так, временами кислятина какая-то. Хочется поскорее выйти из этого

положения, сдвинуться с этой мертвой точки. Но вера в будущее есть, бодрость духа не потрачена! <…>

Милая, получил я сегодня письмо от матери и письмо от Алекс. Аф. [Морозова]. Мать мне тоже готовит посылку, так что на днях буду совсем богатым. Алекс. Аф. всё еще сидит в Черкассах, госпиталь его работает вовсю, полон, есть также и много заразных. Не понимаю, неужели жена его сидит в Москве! Он пишет, что ему скучно, развлечений никаких. Значит, она в Москве. Что ты на это скажешь? Должно быть, она боится заразы! <…>

За почтой мы ежедневно посылаем денщика. Отделение в одной версте от нас, недалеко от станции, в местечке Волочиск. Это местечко тянется на несколько верст по одной дороге до самой границы, где находится главная его часть. По ту сторону – Подволочиск австрийский. На всякий случай еще раз повторю, что очень просят коллеги выписать «Русское слово» с 1 – го ноября до 1-го января до востребования. «Русские ведомости» я надеюсь получать с послезавтрашнего дня.

Милая Шурочка, скучное письмо я тебе сегодня написал. Я сознаю это, но что же поделать, скучно как-то на душе, хочется к тебе, в Москву, в Морозовскую больницу, за обычную работу, главное – хочется к тебе, тебе.

Твой скучный Ежа.

Волочиск, 23 октября 1914.

Вот и сегодня получил письмо от тебя, милая Шурочка, от 19-го числа. <…> Как я люблю получать твои письма! Хочется не один, а два раза в день получать их! <…> Я тебе вчера написал нехорошее письмо. Жаловался на сердце и ныл со скуки. Правда, сердце и сейчас мало радует, всё те же явления. Правда, и сейчас работы нет, всё та же бездеятельность, но все-таки общий фон получился слишком мрачный.

Я начну вести правильный образ жизни, то есть не буду больше играть в карты, что все-таки волнует, буду избегать лишнего физического напряжения, буду беречь себя, с завтрашнего дня начну даже принимать в небольших дозах строфант. Если бы я не побоялся напугать своих домашних, то я попросил бы даже для себя комиссии, потому что сейчас я работник плохой. Но так, думаю, может быть, как-нибудь и обойдется, ведь бывают же периоды ухудшения. Ну, больше не буду об этом писать, это материя скучная, всё равно словами ничего не сделаешь.

Милая Шурочка, ты тоже не беспокойся, ведь такая штука тянется много лет, иной раз эта слабость сердца проходит даже совсем. С завтрашнего дня опять примусь за чтение и за французский язык, который я последнее время слишком забросил, тогда и настроение улучшится. Мне немного совестно за то, что я тебе пишу обо всем этом. Ты на моем месте смолчала бы, я знаю, но и ты была бы неправа. И я всегда буду утверждать, что о здоровье своем следует заботиться, что это не совестно делать.

В общем, дни наши здесь текут однообразно, без всякого оживления. Зимовать здесь мне не хотелось бы, тем более что и н[ужник] холодный! (Pardon!) Вот видишь, как я красиво выражаюсь! П. П. еще не вернулся из Львова, нам от этого ни холодно, ни жарко. <…>

Вот я сейчас пишу и чувствую, что пишу совсем не то, что надо и что хочется, а что-то такое нудное, скучное, тягучее. И колеблюсь я, стоит ли отправлять такое письмо, но решаю, что стоит. Пускай ты увидишь меня и с самой неприглядной стороны. Шурочка, совестно мне, что я так перед тобой раскис, что мы как будто поменялись ролями. Но раскис я, поверь, не оттого, что сердце меня напугало, а оттого, что это безделье начинает угнетать меня и что я не верю больше в то, что эта война дает что-нибудь положительное, и поэтому хочется отстраниться от нее.

Главное, я теперь нисколько не сомневаюсь в том, что наша работа здесь если и будет, то бестолковая и никому не нужная, что я в миллион раз больше пользы принес бы в стенах Мороз[овской] б[ольни]цы, откуда ты стремишься! Ты сама посуди, какая цена работе, в смысл

которой не веришь! Я еще понимаю работу непосредственно на поле сражения, там хотя бы кипучая нервная деятельность. А здесь? Толчение воды в ступе, мелкие интриги и больше ничего.

Я тебя, Шурочка, не совсем понял, что ты хотела сказать – «не погас бы огонек» во внешнем смысле? Во внутреннем, конечно, я также мало сомневаюсь в невозможности угасания нашего огонька, как и ты. Не на одну войну хватит!

Милая, дорогая Шурочка, прости мне два последних безалаберных и нудных письма. Мне совестно, но скрывать от тебя не хотел ничего. Это временно и скоро пройдет. Прости, дорогая.

Твой глупый Ежик.

13.

Волочиск, 25-го октября 1914 г.

Милая! Вчера утром я не получил от тебя писем и уже огорчился, но вечером я еще раз сам пошел на почту и получил, правда, не письмо, но зато посылку от Шурочки и «Русские ведомости». Я так был рад! Возвращались мы с Левитским полем, большой дорогой, а слева над горизонтом начала подниматься полная луна, – так красиво. Мне так хочется вместе с тобой смотреть на всё красивое и так обидно, что это пока невозможно! Левитский усердно помогал носить посылку, рассчитывая, что и на его долю перепадет, и не ошибся. Я думаю, что, несмотря на обилие посланного, скоро от всего останется одно прекрасное воспоминание.

Милая, как ты старалась выбрать всё то, что мне в свое время нравилось. Какая у тебя память на все эти вещи! Милая, дорогая, когда, распаковывая, я наткнулся на твои снежинки (вероятно, хризантемы. – *Сост.),* Левитский многозначительно отвернулся, это, дескать, не для нас. А они, бедные, уже засохли и падали с веток… Милая моя, славная, как мне хочется к тебе! Сейчас у меня немного женская психология, – личное счастье выше общественного. Конечно, только так, временное настроение, но правда, война уже не захватывает так, как раньше, а душа устает от этой вечной напряженной бездеятельности, и стремишься невольно опять к осмысленной жизни…

Ты последнее мое письмо откинь, оно нехорошее, там слишком сгущены краски. Я его тебе послал как исторический документ, что вот и с твоим Ежкой бывают такие минуты, и нечего ему задирать нос, когда то же случается и с другими. Но все-таки доля истины в этом есть, нельзя скрывать.

А сегодня утром я сразу получил два твоих письма, от 20 и 21/X. Почему ты, Шурочка, упоминаешь про разбитое корыто, да еще подчеркиваешь? Какое может быть разбитое корыто? Нет, Шурочка, будет не разбитое корыто, а будет счастливое возвращение и светлая совместная жизнь! Я нисколько не перестаю в это смело и твердо верить, и тебе советую делать то же самое.

Значит, ты думаешь в феврале иметь возможность приехать ко мне. Еще больше трех месяцев! Как бесконечно долго! Да буду ли я еще здесь, в Волочиске? Идет слух, что отсюда два госпиталя будут отправлены на Кавказ. Не мы ли? А хорошо бы, Шурочка. Там все-таки теплей и природа замечательней, да я еще ни разу не был там, на юге. Как хорошо было бы встретить там весну! Весна! Когда еще она будет? А уж как мне хочется поскорей весну! Зима еще не началась, а уж все помыслы устремляются дальше, за ее пределы.

Посылаю тебе, Шурочка, с сегодняшнего дня письмом очередные фотографии. Конечно, на снимке и отдаленного намека нет на красоту осени в хохлацкой деревне. Да если бы можно было бы изобразить в красках, да в больших размерах! А так только весьма бледная копия.

Хочу написать матери Кольки Гефтера[145], спросить ее, что и как ее сын, жив ли он еще и где стоит. От Кутьки тоже ни слуха ни духа.

Вчера и сегодня у нас, наконец, опять солнце, и сразу стало веселей, светлей и на душе. Левитский просит и от своего имени передать тебе благодарность за посылку, ведь и на его долю здесь много. Милая! И мне хочется тоже тебя поблагодарить, но не словами, а крепко-крепко обнять и крепко-крепко поцеловать в губы, взасос! Милая моя, надежда моя, хорошая моя, дорогая моя женушка, ох уж и поцелую же я тебя при следующей нашей встрече! Жарко будет!

Твой неисправимый Ежа.

14.

Волочиск, 26-го октября 1914.

Ну и дела, Шурочка! Не успели мы здесь развернуться окончательно и принять больных или раненых, как получили уже и новый приказ: немедленно свернуться и отправиться в Подволочиск, сменить там 130-й госпиталь и принять всех больных этого госпиталя, который отправляется дальше, за Львов в город Сам-бор у подножья Карпат. Всё бы ничего, но вот какой казус, – в этом 130-м госпитале до сих пор лежали исключительно только венерические больные, и нам, таким образом, суждено превратиться в венерологов! А я никакого понятия не имею ни о сифилисе, ни о триппере! Ну, ничего, надо и этому поучиться. Левитский кое-что в этом понимает и покажет нам, – даже любопытно для первого раза. Нельзя же так замыкаться в рамках своей узкой специальности. Но каково? Думали, что на Кавказ, а получили такую конфетку!

Не знаю даже, как и домой написать, ведь если напишешь правду, то придут в ужас! Напишу, что у нас там будут лежать больные с внутренними болезнями, незаразные. Здесь в Волочиске имеется, между прочим, и холерный госпиталь, сейчас там больных осталось немного. Там по очереди работают по десять дней младшие ординаторы всех расположенных здесь восьми военных госпиталей. Скоро подходила моя очередь. От этого удовольствия я теперь освобожден.

В Подволочиске нет холеры. Условия жизни, в смысле внешнего комфорта, там, конечно, тоже будут лучше. Даже здесь все остальные госпитали, даже после нас приехавшие, устроились много лучше, чем мы. Ведь наш П. П. прямо Богом обиженный человек в этом отношении. Что ему подсунут, то и берет с благодарностью: казарму – так казарму, сарай – так сарай. Жить мы там будем все-таки как-никак в городе, а не черт знает где. Конечно, в идейном отношении наша работа там будет хромать: поехать на войну и лечить сифилитиков! Но что же? Не одними идеями питается человек… Да к тому же мы, вероятно, там останемся тоже недолго, – поработаем с месяц, а там милости просим подальше, куда-нибудь в Самбор.

По крайней мере, будет некоторое разнообразие, и я тебе по секрету скажу, что я, в сущности, рад, потому что казарма здесь мне противна до глубины души, хирургия наша оказалась бы тоже на высоте воронежской, и удовлетворения я бы здесь не получил всё равно. А условия при этом нехорошие: неуютно, холодно, одиноко, скучно. Там будет новое, еще неизвестное! Ты меня понимаешь? Не заразы же я буду бояться!

Самый важный вопрос тоже регулируется пока еще вполне удовлетворительно, мы денщика нашего по-прежнему будем посылать сюда в Волочиск за почтой. Дело в том, что по ту сторону границы почта уже приходит через цензуру и доходит по назначению черт знает когда. Должно быть, и Р. В. тогда нельзя будет уж получать, а здесь можно. Так что пока всё обстоит

[145] Николай Маркович Гефтер, гимназический друг Фр. Оск., в мирное время служил помощником присяжного поверенного.

благополучно. Впрочем, ординатор другого госпиталя, вместе с нами приехавшего сюда из Воронежа, мне сегодня показал целый ворох писем, адресованных в действующую армию и полученных им теперь. Написаны с августа месяца! Значит, и твои письма еще дойдут. Вот видишь, дела у нас какие! Что ты на это скажешь? A la guerre comme a la guerre, нельзя требовать себе только интересное. <…>

Милая, сегодня получил твое письмо от 22-го октября. Я тоже огорчен, что мое письмо от 17-го пропало. Ты меня спрашиваешь, что я писал в нем. А вот что: получил я в этот день впервые после долгого перерыва письмо от тебя, такое светлое и бодрое, такое праздничное. Получил также и от матери письмо и от отца открытку. Писал я, что я себе как умел устроил праздник[146], – наломал в саду снежинок, таких же, как и в прошлом году в Морозовской б[ольни]це, только не таких пышных, срезал себе веток с яркими осенними листьями, такими огненно-холодными, и всё это расставил и развесил в нашей комнате. Писал я тебе письмо, а над моей головой свешивались белые нежные снежинки… Писал я, что ты – моя дорогая, бесценная Шурочка, а что еще писал – не знаю.

Вернулся вчера из Львова П. П., принес жалованье. Веселей от его приезда не стало. Больная сестра [милосердия] поправляется. Покровский мне сообщил по секрету, что намерен после войны сыграть свадьбу! Быстро! Война приносит не одно только горе, кое-кто находит и свое счастье.

Милая, ты сегодня довольна моим письмом? Пессимизм исчез, не правда ли? Вот видишь, всё это временно. Остается что? Остается то, что Шурочка и ее Ежик это одно целое, неделимое, – и это важно, всё остальное пустяки, ерунда. Ты со мной согласна, моя дорогая?

Прощай, оставайся умницей, и я тоже постараюсь.

Твой Ежка*.

Как тебе нравится эта почтовая бумага?

* Далее приписка на полях письма.

15.

Волочиск, 28-го октября 1914.

Стоим у разбитого корыта, на старом пепелище. Расскажу тебе, Шурочка, по порядку все наши метаморфозы. Когда я тебе писал третьего дня, то думал, что мы попадем в венерический госпиталь. К вчерашнему дню выяснились подробности, и оказалось, всё значительно симпатичней.

В Подволочиске уже два месяца (с конца августа) стоит всего один только госпиталь, крепко там пустивший корни и обжившийся. Он занимает помещение бывшей польской народной школы, и за это время успел приспособить его для госпиталя. Они там даже вырыли колодец и провели водопровод, ухлопали много денег. И вот они внезапно получают приказ свернуться и немедленно отправиться в Самбор. Мы же должны их заменить. Так как среди их врачей не было специалистов-хирургов, а был венеролог и глазник, то им и старались по возможности класть таких больных, и у них лежало больше ста венерических, около 25-ти глазных больных, остальные были хирургические и терапевтические, больше с энтеритами (воспалениями тонкой кишки. – *Сост.),* дизентерией и брюшным тифом. Как видишь, целая энциклопедия.

П. П. решил число венерических (в отдельном корпусе) сильно сократить, а остаток поручить Покровскому. Левитскому хотел передать все хирургическое отделение, а мне поручить

[146] 17 октября – день рождения Фр. Оск. (27 лет).

терапию и заразу. Так были бы и овцы целы, и волки сыты. Я, по крайней мере, был очень доволен, думал, что здесь можно будет поучиться кой-чему новому, тем более что госпиталь далеко не носил характер только эвакуационного, больные лежали и больше месяца…

Вчера днем П. П. вернулся из Подволочиска и заявил, что мы должны завтра же с утра принять больных госпиталя и сегодня же немедленно переехать. В нашем только что здесь устроенном госпитале разломали печи, вынули котлы, уложили вещи. Мы тоже быстро собрались и поехали (на лошадях по шоссе). Приехали уже в темноте.

Рядом с училищем в частных домах – квартиры сестер и врачей. Прошли мы к коллегам уезжающего госпиталя. Квартира у них уютная, светлая, просторная, хорошо меблированная (светлая мебель, светлая под обои окраска стен), стоят два пианино, зеркала, шкафы, пружинные просторные кровати… Хозяева при наступлении русских оставили всё на произвол судьбы, и чудом каким-то всё уцелело. В других домах был настоящий погром, пожары, камня на камне не оставили казаки…

Первым нас встретил священник, который должен был остаться, присоединиться к нам. Он оказался очень симпатичным, веселым, молодым еще человеком, обещавшим дать нам хорошего нового собеседника и товарища. Первую ночь мы должны были спать с не уехавшими еще коллегами. Устроились кое-как. Надеялись на следующую ночь устроиться уже совсем по-домашнему. Но не тут-то было.

С утра выезжал 130-й госпиталь, тоже разломал печи, вытащил всё свое имущество. Было тепло, солнечно, приветливо. Подвода за подводой тянулись к станции. А из Волочиска подъезжали наши подводы. Мы стояли со священником у ворот, беседовали и наблюдали. Разбирали преимущества нашего положения. Во-первых, все-таки сравнительно благоустроенное местечко, не казармы, находящиеся далеко от станции. Во-вторых, в двух шагах от станции, где постоянно проезжают раненые и пленные и где всегда можно быть en courant[147] всех новостей. В-третьих, хорошая благоустроенная квартира. В-четвертых, вполне прилично оборудованный госпиталь. В-пятых, привилегированное положение как единственного госпиталя, к которому с большой симпатией относился начальник эвакуационного пункта, полковник. В-шестых, все-таки почта из России получается непосредственно и аккуратно. В-седьмых, Шурочка могла бы у меня устроиться без особого на то разрешения предержащих властей, что необходимо было бы дальше в Галиции. В-восьмых, наше положение здесь было бы уже прочно, мы засели бы надолго, может быть, до конца кампании.

Дело в том, что главный врач этого госпиталя недавно был во Львове и там сам себе напортил: хвастался благоустройством своего госпиталя и тем, что его могут оттуда выгнать только по высочайшему повелению. Это не понравилось какому-то его недругу-начальнику, и в результате – распоряжение немедленно выехать в Самбор на холеру! Не говори он, его бы и не трогали. А мы на этой афере должны были выиграть.

Полковник, начальник] эвакуационного] п[ункта], подружившийся с врачами госпиталя, немедленно стал хлопотать, чтобы их оставили, но получен был категорический ответ: нельзя. Тогда они и мы стали собираться. Их эшелон был назначен к отправке в 2 часа дня. В час мы должны были у них перенять больных. А в 12 час. спешит с вокзала сам полковник с телеграммой в руке и радостно еще издали кричит: «Удалось отстоять, вы остаетесь!». Новая телеграмма такого сорта: 130-й госпиталь остается в Подволочиске, нас же даже не в Самбор, а обратно в Волочиск, а в Самбор отправляется другой здесь расквартированный госпиталь, очередь которого теперь пришла ломать печи! Так-то, Шурочка, a 1a guerre comme a la guerre!

И вот мы снова собрали все свои пожитки и длинной вереницей подвод и тарантасов потянулись к покинутым вчера только очагам после неудачной заграничной экскурсии. Вер-

[147] En courant *(франц.)* – в курсе.

нулись в Рассею-матушку! И вот мы снова топим печи в нашей квартире и вставляем котлы в казармах!

Что ты на всё это скажешь? Расскажи коллегам. Это военно-бытовая картинка.

«У разбитого корыта»

твой Ежка.

16.

Волочиск, 29-го октября 1914

Милая Шурочка. У меня сейчас нет времени. По разным причинам раньше не успел написать, а сейчас надо торопиться. Завтра напишу длинное письмо. Сегодня только сообщу, что только что получил две посылки из Риги со всевозможными теплыми вещами и всякими сластями и консервами. Много лишнего при наших условиях, ведь мы не в траншеях живем, но всё трогательно и мило. Прислан также удачный портрет Гуго.

Сегодня же, получив жалованье, я отправил 100 р. в Ригу, 30 р. старушке Мазур и 30 р. тебе, моя дорогая. Не сердись, что я стараюсь покрыть свои долги, это только для аккуратности. У меня всё еще остается около 80 р., как видишь, вполне достаточно.

Третьего дня получил твое письмо от 23-го, а сегодня от 24-го и 25-го. Милая моя, дорогая, что я могу еще сказать. Милая, когда мы увидимся?

Весь твой Ежка.

17.

Волочиск, 30-го октября 1914 г.

Милая моя, бесценная жинка, дорогая моя Шурочка. Сегодня получил твое последнее письмо от 26/X. Ты хочешь ко мне приехать! Дорогая, сказать ли тебе, как я буду этому рад, ведь мне так хочется к тебе, быть с тобой! Только выйдет ли это? Дадут ли тебе отпуск? А если не дадут? Ссориться с Морозовской больницей ты не должна, ведь мы хотим же вместе с тобой там еще работать. Ведь у нас там еще многое впереди. А уж и хочется мне как, чтобы ты сюда приехала!

Дело в том, Шурочка, что мне нужно и с тобой еще посоветоваться: у меня сердце совсем расклеилось, полное расстройство компенсации, как ни совестно в этом сознаться в мои годы. Скрывать от тебя – всё равно не скроешь, лучше уж начистоту посоветоваться. Ты только не беспокойся особенно, Шурочка, со временем всё это опять наладится, и я буду очень осторожен. Можно еще долго прожить. Не знаю только, как мне быть сейчас. Хочу скрыть от родных. У них и так много горя в последнее время, к чему их волновать еще своей особой.

Только что закончил веселое письмо к матери, о здоровье ни полслова. А между тем оно неважно, с каждым днем пока ухудшается. Сегодня пришлось написать рапорт о болезни, не могу завтра дежурить на станции. Попробовал вчера пойти на почту, шел медленно-медленно, еле добрался домой, а потом долго лежал, и сильно сжимало грудь, аритмия во всю ивановскую, одышка при малейшем движении, недостает для полноты картины только отеков… Строфант не помогает, сегодня начал принимать inf. digitalis (настой наперстянки. – *Сост.)*\ Ничего не поделаешь, приходится. Нужен, конечно, покой, нужен отпуск, но тогда родители узнают, что я болен, а я не хочу их тревожить. Надеюсь, что, может быть, обострение пройдет здесь. Я теперь буду очень осторожен, digitalis мне поможет. А через две недели приедет моя Шурочка, и всё пойдет хорошо, ведь это временное обострение.

Милая Шурочка, ты под влиянием этого письма не решай что-нибудь слишком поспешно. Я ведь сейчас совсем спокоен и буду ждать тебя спокойно, ничего такого экстренного нет. Если ты, чего доброго, поругаешься с Алексеевым, уезжая сюда, мне будет очень

больно. Ты этого, умоляю тебя, не делай! Вообще не придавай слишком уж серьезного значения всему этому. Всё это сейчас очень неприятно и некстати, но пройдет, и останется только гадкое воспоминание.

Я отныне буду очень осторожен, и всё пойдет хорошо. Только сейчас вот я не знаю, как мне поступить так, чтобы родные ничего не узнали, ведь если я отсюда уеду, они неминуемо узнают. Ну, ты приедешь, и мы всё это разберем, обсудим. Ты моя хорошая, умная, единственная. А я, Шурочка, спокоен, ты не думай, что я особенно тревожусь. В особенности сейчас, как сообщил тебе, так и чувствую себя совсем спокойным, как ребенок, сообщивший матери о том, что животик болит, и твердо верящий, что теперь всё пойдет хорошо.

Левитский и Покровский с двумя сестрами вчера утром поехали во Львов погулять, пока нет больных. Мы тут совсем одиноки: П. П., аптекарь, я, старшая сестра (лежит в постели, расстройство желудка) и младшая сестра, примкнувшая к нам в Воронеже. Я читаю газеты и письма, жду их с нетерпением, читаю с жадностью. Вот и всё мое занятие пока.

Госпиталь опять устроился, к субботе, должно быть, будут больные. Наш госпиталь будет принимать, как нам сообщают, главным образом хирургических больных и немного терапевтических. Будет, будет! Всё нам обещают, а мы всё ничего не делаем. Как всё это безалаберно! Эпизод с нашим назначением в Подволочиск мелькнул, как метеор, и опять забывается уже. А счастье было так близко, так возможно!.. Ну, Шурочка, не огорчайся моим письмом, не волнуйся. Будь спокойна,

как твой Ежка*.

Получил сегодня открытку от Зайцева, всё еще торчит в Воронеже.

* Далее приписка на полях письма.

18.

Волочиск, 31-го октября 1914 г.

Милая, дорогая Шурочка, хорошая моя женочка. Вот прошел и еще один день, такой однообразный, бездеятельный. И я опять тебе пишу, беседую с тобой, моей милой. Получил твое письмо от 27/X, где ты ничего не пишешь о своем приезде. Поскорей бы пришел этот момент, когда моя Шурочка опять будет со мной! Отпустят ли тебя? Ты только, пожалуйста, не расставайся с Морозовской б[ольни]цей окончательно, не доводи до этого. Я тебя опять прошу убедительно, иначе ты меня сильно огорчишь. Если не отпустят сейчас, то Бог с ними, удастся в другой раз. А как хорошо бы!

Я тут уж распускаю слух, что жинка моя ко мне, вероятно, приедет в середине ноября на недельку. Мне сочувствуют вполне. Я бы тебе показал, как мы здесь живем. Ты имела бы представление об условиях, нас окружающих. Поехали бы в Подволочиск, за границу! Увидала бы своими глазами, как там в августе хозяйничали казаки, почувствовала бы слегка веяние войны на месте действия. Правда, здесь разнообразия немного, но я думаю, мы в этом разнообразии вместе с тобой нуждаться не будем, нам ведь скучно не будет. К тому времени я поправлюсь, и всё будет хорошо. Ведь так, Шурочка?

А пока я сижу и бездельничаю. Лежал, читал газеты и письма, перебирал вещи, присланные из Риги. Чего-чего только там нет! П, елый колониальный и мануфактурный магазин! Тут и бисквиты, и пастила разных фабрик, и какао, и шоколад в неимоверных количествах, тут и арагац, и мыло, и консервы (тушеное мясо, жареная курица и т. д.!), и супы сушеные (цветная капуста, раковый!). Это по съедобной части, кроме, конечно, арагаца и мыла.

Затем идут шерстяные товары. Тут и шерстяная вязаная фуфайка, и шерстяные чулки, и Jager'овское белье[148], и перчатки. Имеются какие-то странные вязаные шапки и рукава, шарфы и шлемы! К чему мне всё это? Я писал вчера матери, чтобы они там не представляли себе, что я живу в траншеях и голодаю, сплю под открытым небом. Они полагают, что посылается офицерам на позиции, то на всякий случай надо послать и мне! Даже наши пансионерки[149] связали шарфы «для солдат», – я отдал нашему денщику, который, очевидно, остался очень доволен подарком.

Вилли тоже прислал мне запечатанную коробку. В ней оказались хирургические перчатки, резиновые напальч[н]ики (не знаю, как они называются, ты и так поймешь) и еще кое-что, иногда нужное! Vous comprenez?[150] Какая предупредительность! Меня он этим искренне рассмешил. На всякий случай, дескать! Вот какой я теперь богатый! А я еще до сих пор не могу осилить твое печенье и варенье. <…>

Все хочу написать Бор. Абр-чу, да не знаю, почему-то никак не соберусь. А вспоминаю я о нем охотно и с благодарностью. Растрата бухгалтера (в Морозовской больнице. – *Сост.)* меня изумила. Неужели? Почему это у нас никак невозможно ничего без растрат? <…>

Как хочется слушать музыку! Знаешь, Шурочка, я серьезно задумываюсь над мыслью приобрести себе после войны пианолу (механическое фортепиано. – *Сост.).* Будут ли только средства?

Коллеги из Львова должны вернуться завтра утром, а послезавтра нам хотят уже подвалить раненых, поскорей бы. Не знаю, удастся ли к тому сроку выйти на работу, посмотрим.

Сейчас лягу спать, а завтра скоро опять письмо от тебя. Что-то ты мне напишешь?

Целую сколько могу крепко.

Твой Ежик*.

Как твоя сестра Лиза? Передай от меня привет. Как здоровье брата?

* Далее приписки на полях письма.

19.

Волочиск, 2-го ноября 1914

Милая Шурочка. Вот прошли два дня нетерпеливого ожидания, но писем от тебя нет! Только что вернулся с почты денщик, которого я послал уже второй раз. Как неисправно здесь работает почта! Буду крепко надеяться, что завтра получу целых три письма!

Вчера вернулись коллеги из Львова. Стало опять немного веселей, оживленней. Привезли с собой много коньяку ит.п., задали пир. Я смотрел; конечно, не принимал участия. Они остались довольны, что поехали, хотя и истратили массу денег, а я остался доволен, что не поехал, не тянет меня никуда без моей Шурочки. А с тобой, Шурочка, нам едва ли придется поехать туда, – необходим особый пропуск в Галицию, выдаваемый только по особо уважительным причинам. Для тебя едва ли что-нибудь придумаем убедительного. Как хорошо, что мы на самой границе, что ты можешь ко мне приехать беспрепятственно! Приедешь ли ты? Ну, если не сейчас, то как-нибудь в феврале что ли! Ничего, будем ждать.

Мы сегодня, наконец, начинаем функционировать как госпиталь. Только что к нам привезли из уходящего в Самбор госпиталя 30 человек терапевтических больных. Левитский

[148] Изделия под маркой «Jager» выпускались в Англии с 1882 г., особенно славилось высококачественное шерстяное нижнее белье. Бренд сохранился до нашего времени.

[149] Для пополнения семейного бюджета родители Краузе взяли в дом трех пансионерок.

[150] Vous comprenez? *(франц.)* – Вы понимаете?

пошел их принимать и будет сегодня дежурить. Хороший человек Левитский! Мы только что долго сидели и болтали. Я ему рассказывал про Москву и Морозовскую больницу. Конечно, описывал всё в радужных тонах! Как мы дружно живем, работаем и веселимся, рассказал про свое и твое первое выступление в Об[щест]ве детск[их] вр[ачей]. Слушал он и завидовал. Эх, говорит, надо и мне перебраться в Москву! Но как ему перебраться? Не так-то это легко, тем более семейному человеку. А хороший он, славный товарищ.

Милая Шурочка, если тебе все-таки удастся приехать, то, пожалуйста, захвати с собой следующие книги: Осоргин. «Очерки Италии», Белорусов. «Париж» (а если уже вышло, то и его «Франция»), Дионео. «Меняющаяся Англия» и Изар. «Современная Бельгия»[151]. Жаждем духовной пищи не менее телесной! Что еще привезти? Подумаю и напишу завтра. Спрошу и товарищей, надо же воспользоваться столь редким случаем!

Милая, ты меня спрашивала, как мне нравятся статьи Иорданского[152] из Прибалтийского края. Я вот что скажу: мне кажется, что это человек, раньше никогда не бывавший там и с тамошними условиями совсем не знакомый, но желающий в этих условиях разобраться по мере сил объективно и беспристрастно. Поэтому он a priori относится скептически ко всяким слухам о каких-то вышках, сигнальных огнях и т. и. нелепостям (глупая и гнусная инсинуация, воспользоваться которой не постеснялся даже кн. Мансырев[153] в своем докладе в Москве). Он прислушивается ко всему, что ему рассказывают там на месте, но хорошо умеет отделить явно партийное от беспристрастного. Поэтому я думаю, что ему удастся дать более или менее правильную оценку происходящему в Прибалтийском крае.

Как тебе нравится приказ закрасить в Риге все немецкие вывески, даже на исторических зданиях, причем латышские остаются нетронутыми?! Где же тут справедливость? К чему эти гонения на самых лояльных русских подданных? Как всё это некрасиво! И как, к сожалению, оправдывает мой прогноз относительно итогов этой войны! Вместо одного засилья – другое, вместо германского шовинизма – свой, отечественный! Перемена вывески, ярлыка, – и только, содержание остается. Как иначе отнеслись англичане к командиру «Эмдена» после его захвата[154]. Здесь и врага уважают, мы же своих топчем в грязь.

Меня в Р. В. всегда очень интересует рубрика «Письма читателей». Ты обратила внимание на борьбу мнений в публике, pro и contra. Это весьма любопытно и утешительно. Есть, значит, люди, не поддающиеся всеобщему угару.

Прощай, моя милая, дорогая.

Твой Ежик*.

Здоровье несколько лучше, сегодня заканчиваю digitalis.

* Далее приписка на полях письма.

20.

Волочиск, 3-го ноября 1914 г.

---

[151] *Осоргин М. А.* Очерки современной Италии. М., 1913; *Белорусов А.* Париж. М., 1914; *Его же.* Франция. М., [1915]; *Дионео.* Меняющаяся Англия. Ч. I. М., 1914; *Изар Ж.* Современная Бельгия. Пг., 1914.

[152] Иорданский Николай Михайлович, сотрудник и один из соиздателей газеты «Русские ведомости». С 21 октября в этой газете регулярно печатались его корреспонденции из Прибалтийского края.

[153] Мансырев Серафим Петрович (1866–1928), князь, юрист, член IV Государственной думы от Риги, кадет, в августе 1915 г. примкнул к фракции прогрессистов и был избран товарищем (заместителем) председателя думской Комиссии о мероприятиях по борьбе с немецким засильем.

[154] в Индийском океане «Эмден» был подорван австралийским крейсером «Сидней», потерял боеспособность и капитулировал. Капитан сошел с корабля последним и был встречен с почестями. Для сдавшейся в плен команды приготовили обед, раненых поместили в лазарет. В дальнейшем они содержались в лагерях для военнопленных на Мальте.

Только что послал денщика во второй раз на почту, утром не было писем. Принесет ли он мне что-нибудь? Неужели опять вернется с пустыми руками!? А какие от тебя будут вести? Приедешь ли или нет?

Милая, еще раз усердно прошу, не приезжай, если из-за этого выйдет с начальством неприятность. В таком случае лучше отложить до февраля! Прошу тебя, милая, убедительно. Повторяю, что если ты поступишь иначе, ты меня очень огорчишь!

А если приедешь, то захвати с собой знаешь кого? Фауста! Впрочем, ты и сама догадаешься это сделать, не правда ли? Мы с тобой опять будем его читать, как на Nagu! Затем попросил бы тебя взять с собой оба выпуска «Истории русской литературы XX века»[155], ведь ты получила 2-й выпуск? Левитский просит купить ему, если тебе не трудно, какие-нибудь легкие французские тексты с русским переводом, если таковые имеются. Знаешь, кажется существуют такие книжки, – на левой стороне французский текст, а на правой – русский готовый перевод. Если найдешь, то он просит принести ему 3–4 таких книжки. Затем еще просит купить ему два небольших карманных словаря (если есть, то с методом Туссэн-Лангеншейдт), один франц. – русский, другой русско-французский. Вот наши просьбы, милая Шурочка, в случае если ты сможешь сюда приехать.

Шурочка, ты можешь себе представить? Вернулся денщик, – мне ничего, опять ничего, а Левитскому снова письмо! Что это значит? Милая Шурочка, какая почта поганая, – задерживает! Уже три дня без писем! В Воронеже только один раз я как-то два дня остался без весточки от тебя, а сейчас уже целых три дня! Что будет завтра? Шурочка, милая, я удручен. Если до послезавтра не будет от тебя писем, я пошлю телеграмму с запросом. Уж не захворала ли ты?

Шура, я не могу сейчас больше писать. Я буду ждать писем от тебя с нетерпением и с верой. Прощай, моя дорогая, хорошая, не хворай.

Твой печальный

Ежка.

Волочиск, 4-го ноября 1914 г.

Милая, наконец-то! Сегодня получил сразу три письма от тебя, от 29-го, 30-го и 31-го! Лучше поздно, чем никогда. Все-таки почта противная. Значит, Шурочка, ты ко мне в ноябре не приедешь! Ну ничего, не горюй, не падай духом, – не сейчас, так после. Может быть, опять как-нибудь удастся случайно и неожиданно увидеться, как месяц тому назад. Главное, Шурочка, не падай духом, не переставай верить в светлое будущее, ведь трудно прожить жизнь совсем без компромиссов. Подождем, поживем и увидим. А как было бы хорошо!

Вот Алексей Афанасьевич [Морозов] мне сегодня пишет, что у него жена находилась три недели, а сейчас ненадолго поехала в Москву по делам, скоро вернется. Вот счастливый! Человек, которому постоянно везет в жизни.

Все-таки, Шурочка, есть среди наших коллег и такие, которым приходится много хуже, чем мне. Это наши полковые врачи. Ты подумай, ведь они даже корреспонденцию получают черт знает когда, и постоянно их гонят с места на место. Нет, Шурочка, нам грех жаловаться, мы пока живем в хороших условиях, бывает и хуже.

А все-таки, как хорошо было бы, если бы ты приехала! Уж зато, погоди, когда я по окончании войны вернусь, мы свое возьмем! Тогда на нашей улице будет праздник, да еще какой! Я всё мечтаю об этом, даже Левитскому всё расписываю, как у нас хорошо. Он слушает и верит. Я его всё зову к себе после войны, показать ему больницу и товарищей, провести вечер… Да, мечты, мечты! Если бы их не было! <…> И ты, Шурка, не втягивайся в настроение серых будней, живи будущим, на него обрати свой взор, надейся и верь. Тебе будет легче.

---

[155] Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. С. А. Венгерова. Вып. 1–2. М., 1914.

Милая, не бойся за меня из-за сыпного тифа и холеры. Наш госпиталь не заразный. Для сыпнотифозных и для остатка холерных здесь особые госпитали. Сырой воды я не пью, и эта опасность здесь самая минимальная. Вообще мое здоровье начинает налаживаться, хотя и туго, digitalis, несомненно, помог. Хочу с завтрашнего дня перейти на малые дозы, буду его принимать еще некоторое время, пока дело не наладится.

В госпитале всё те же 30 больных, во мне не нуждаются. Когда я заикнулся было о работе, П. П. категорически потребовал еще некоторое время покоя для меня. Должно быть, с неделю еще посижу дома. П. П. вообще усиленно старается быть любезным и предупредительным, но семейный простой тон в нашем обществе как-то не налаживается, обеды всё еще проходят довольно тускло. <…>

Для удовлетворения любопытства товарищей можешь им сообщить, что я здесь получаю: жалованья 60 р., столовых 8 р., добавочных 22 р. и полевых порционных (со дня выхода в поход, значит, с 8-го окт[ября]) по 3 р. 50 к. в день, значит, 105 р. В общем я здесь получаю 195 рублей! В Воронеже получал около 125-ти р. Лошадиных нам не выдают, на отопление, освещение, квартирные и «приварочные» нам здесь не полагаются. Всё это мне только что рассказал Левитский. Я сам до сих пор не интересовался подробностями, подписывался под суммами, которые мне выдавались.

Прощай, дорогая, будь умницей.

Твой Ежик, твой и только твой.

Волочиск, 5-го ноября 1914

Милая Шурочка. Сегодня от тебя нет письма, опять почта запаздывает. А мне так любопытно, что ты мне напишешь по случаю наших несбывшихся надежд и упований. У нас дни проходят томительно-однообразно, и не видать просвета… Удивляюсь, как это я, несмотря на полное безделье днем, все-таки к вечеру тянусь к постели и сплю как убитый положенные часы и даже сверх того: обыкновенно с 10-ти часов вечера до 8-ми утра!

Утренние часы посвящаются ожиданию почты. В последнее время поезд запаздывает, и вместо 12-ти мы почту получаем только к 2-м часам. С трепетом смотрю на руки денщика, нет ли серых конвертов, но последние дни так часто разочарование, ничего кроме газет. A propos, «Русское слово» почему-то мы еще не получали, хотя вчера еще должны были получить номер от 1-го ноября.

Больные у нас всё те же, новых нет. Завтра наше дежурство на вокзале. Пойдет Покровский, мне П. П. опять строго запретил. Здоровье – idem. Начал я сегодня письмо Николаю Ивановичу. Когда кончу, не знаю.

Хочу к Шурочке! Иной раз замечтаешься, так живо представляешь себе пребывание с тобой!..

Ты читала, Шурочка, в субботнем номере Р. В. письмо из Крыма Елпатьев-ского[156] и статью «Гунн» Жаботинского?[157] Стоит прочитать. Ликвидируется немецкое землевладение в России![158] Чем всё это кончится? К чему все эти гонения?

---

[156] Корреспонденция С. Я. Елпатьевского «Немцы в Крыму. (Письма из Крыма)» была опубликована 1 ноября 1914 г. в воскресном номере газеты «Русские ведомости» (№ 252. С. 2). В ней крымские немцы характеризовались как «мирнейшие обыватели, сытые люди, которые стремятся быть лишь сытыми и отрицательно относятся ко всему, что стоит на дороге дальнейшему расширению их землевладения». По словам автора, проект ликвидации немецкого землевладения произвел впечатление разорвавшейся бомбы на весь деловой Крым, и его осуществление стало бы величайшим потрясением для всего края.

[157] Разъездной корреспондент газеты «Русские ведомости», видный деятель сионистского движения, писатель, поэт и публицист В. Е. Жаботинский в статье «Гунн», написанной во Франции, задавался вопросом, как совмещаются культура и варварство в сознании и поступках немцев (Там же. С. 5).

[158] в православие. 13 декабря 1915 г. ликвидационное законодательство было распространено на надельные земли колонистов и право преимущественного выкупа отчуждавшихся земель предоставлено Крестьянскому банку. В дальнейшем ликвидационное законодательство дополнялось и в то же время из него допускались изъятия. Решение вопроса о «немецком

Очень правильно подметил Жаботинский психологию ученого немца, даже на войне, в плену, думающего, прежде всего, о своей излюбленной специальности. Это жизненный тип немца-филолога. Интересно и то, что, по-видимому, много интеллигентов в Германии поступило добровольцами в армию. Так меня поразило сообщение, что Рихард Демель, лучший современный лирик Германии, написавший чудесные стихотворения, сидит добровольцем в передовых окопах[159]. Да, для них это тоже национальное дело!

Болит голова, кажется, в первый раз с тех пор, как началась война. В этом отношении я счастливец. Как твоя головка? Часто страдаешь? Отвыкаешь от pyramidon'a или нет?

Знаешь, Шурочка, мне обидно, что вот мы находимся недалеко от театра военных действий и ничего не можем себе собрать на память о войне. Не видал ни разу ни гранат, ни шрапнелей. А хотелось бы на память поставить себе на стол шрапнелевый стакан вместо пепельницы, сохранить осколки гранат, купить 2–3 неприятельских револьвера, штыки или тому подобное, что-нибудь из амуниции.

Единственное, что я пока храню, это два номера «Львовского военного вестника»[160], обойму русских патронов, извлеченную австрийскую пулю и ассигнацию-бон, выпущенную Львовским магистратом в «Jedna Когопа» (одну крону. – *Сост.).* Как видишь, беднее бедного.

Я мечтаю в будущем завести у себя «шкаф редкостей», куда буду складывать что удается достать дома и за границей – конечно, только вещи, имеющие личный интерес. Коллекционер! Пока имеется только желание, а возможность?! Мечты, мечты, где ваша сладость? Всё в будущем.

Прощай, моя милая. Глупая сегодня моя болтовня, но болит голова. Мысли как-то путаются.

23.

Волочиск, 6-го ноября 1914

Получил я сегодня, Шурочка, твое письмо от 2/XI и прямо поразился. Ведь еще вчера я тебе писал о статьях Жаботинского, а сегодня ты мне пишешь о том же! Вчера еще я тебе писал о том, с каким удовольствием я ложусь спать и сплю долго, сегодня ты мне пишешь о том же самом о себе! Третьего дня я Левитскому подробно рассказывал о постановке «Покрывала Пьеретты»[161], мысленно переживал еще раз все перипетии этой трагедии любви, вспоминал наши взаимные переживания, а сегодня ты в письме вспоминаешь о том же самом! Где же расстояние, нас разъединяющее? Ведь это же полное духовное слияние, непосредственная близость!

Милая моя, хорошая, ты и далека и близка, бесконечно близка! Когда я читал «Гунна», мне так хотелось прочитать тебе. Как прекрасны простые стихи Мистраля[162], как трогательно наивен восторг военнопленного, какая культурность во взаимных отношениях «врагов»! Да, как-то не верится после этого в дикость «гуннов».

Да, Шурочка, помнишь, как я тебе полгода тому назад говорил, что есть две Германии: одна – официальная, милитаристическая, грубая и самонадеянная; и другая – культурная, тру-

---

землевладении» на местах затягивалось, сведения о нем были собраны только к концу 1916 г., когда этот вопрос по существу утратил свою актуальность. Временное правительство вообще сняло его с повестки дня. В целом реальные результаты применения ликвидационного законодательства были ничтожными.

[159] Рихард Демель (1863–1920), видный немецкий поэт-символист, близкий к ницшеанцам, один из интеллектуалов, подписавших воззвание «К культурному миру», с началом войны вступил добровольцем в германскую армию, был ранен в 1916 г.

[160] «Львовское военное слово» – ежедневная газета, издававшаяся русской военной администрацией Галицийского генерал-губернаторства.

[161] Пьеса-пантомима «Покрывало Пьеретты» Артура Шницлера, музыка Эрнста Донаньи, о трагической любви Пьеро, Пьеретты и Арлекино была поставлена А. Я. Таировым в 1913 г. в Свободном театре в Москве.

[162] Мистраль Фредерик (1830–1914), французский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1904 г.

долюбивая, чистая и идейная, верная хранительница великих заветов прошлого! Может взять верх на время первое течение, но не следует забывать и о втором, более сильном по своей моральной ценности. Неужели же все великие люди Германии (а ведь их много!) так-таки совсем оторваны от почвы, на которой произрастали? Неужели негодная почва может дать прекрасные плоды? Подождем, Шурочка. Вот когда ты научишься немецкому языку, мы с тобой много будем читать вместе, и ты тогда конкретно убедишься, что не гнилая, не варварская ация создала эту литературу, эту философию, эту музыку и эту науку.

Сколько культурных ценностей убьет эта война! Когда же люди научатся уважать друг друга, даже временных врагов?! Господи, как я надеюсь, что эта война кончится к весне, что всеобщее одичание, наконец, прекратится. Я так надеюсь, что Вильгельм заключит мир, как только убедится, что дело проиграно; что он не доведет войну до безумного, безнадежного отстаивания во имя принципа каждой пяди земли, – ему же ведь хуже будет. Господи, поскорей бы их побить как следует. Это единственная надежда, что к лету я буду опять у тебя. Не верю я что-то в слишком длительную войну.

Я совсем размечтался, разошелся… Но не верю я, Шурочка, чтобы тебе дали хотя бы десять дней. Скажут тоже, что теперь не время, тем более что существует возможность призыва остатка врачей. Более правдоподобно, что я появлюсь в Москве по болезни, ведь у меня все status idem, а вечно это продолжаться не может. <…>

Шурочка, ты говоришь, что у тебя опять начинается слякоть на душе. Это не должно быть. Ты себя сдерживай, так нельзя. И нечего кормить меня обещаниями, что, дескать, после нашего свидания ты будешь совсем другая. Мы это уже неоднократно слышали и перестали этому верить. Нет, ты изволь-ка и без свидания оставаться бодрой и не киснуть. Я понимаю временную мерехлюндию, но постоянно киснуть нельзя. Вот опять тебе прочел нотацию и так буду каждый раз, так и знай, строг и неумолим!..

В госпитале всё те же больные, новых нет. От родных уже с неделю нет писем. Сегодня с утра у нас зима, метель, вьюга, снег так и валит. Утром проснулся, а в комнате что-то уж очень светло, Посмотрел на двор, а там всё бело, бело. Впрочем, уж и тает опять. Милая, прощай, на меня за нравоучения не сердись.

Твой Ежка*.

Милая, хочу к тебе, моя единственная! Ух, как бы сейчас расцеловал тебя!

Если хочешь мне прислать интересную посылку, то пришли гл[авным] обр[азом] книги, «Голос минувшего»[163], начиная с мая, «Солнце России»[164], альбом Левитана, что-нибудь красивое и интересное. Ты ведь знаешь мой вкус. Я прочту, просмотрю и пошлю тебе обратно. Да, верно, 1-й том писем Чехова было бы тоже недурно. Затем печенье, это всегда пригодится. Целую много раз.

* Далее приписки на полях письма.

24.

Волочиск, 7-го ноября 1914

Дорогая Шура. Сегодня опять не было от тебя письма. Скучно. Часто стали повторяться такие дни в последнее время, и не всегда бывает виновата почта! Ты, Шурочка, пиши, уж пожалуйста, каждый день хоть несколько строк вроде: ложась спать, целую тебя, или что-нибудь в

[163] «Голос минувшего» – «журнал истории и истории литературы» либеральнонароднического направления, издававшийся в Москве в 1913–1923 гг.

[164] «Солнце России» – популярный еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в 1913–1917 гг. в Петербурге-Петрограде.

этом роде. По крайней мере, денщик не вернется с пустыми руками, и я буду иметь от тебя хоть маленькую весточку. Смейся, но правда, так обидно, когда ничего не получаешь!

У меня теперь времени много, целый день свободен, бездельничаю. <…> И так хочется домой в Морозовскую больницу, к Шурочке, к товарищам, к условиям привычной мирной жизни, так верится, что быстро прошел бы недуг, что опять был бы я работоспособен! А уж как дельно, как рационально проводили бы мы время! И как научились бы вдвойне ценить каждую минуту, данную нам пробыть вместе!

Пищу я тебе, а рядом коллеги рассказывают друг другу гимназические и семинарские шалости, весело смеются. Вставляю и я свои замечания, свои рассказы. Но всё это не то. Моя родина там, в Москве, у Шурки, там мне хорошо, там весело, туда меня тянет всей душой…

Читаю газеты, впечатления всё те же, отрадного мало: длинные списки убитых и раненых, длинные рассказы о сожженных селениях, разграбленных домах, убийствах и насилиях. Устает душа от всего этого ужаса, притупляется чувство, хочется покоя, покоя!

Решили мы сегодня к Рождеству устроить у себя елку. Выпишем украшения из Москвы, деревцо мы здесь достанем, хотя елок я тут что-то не видал совсем. Что же? В крайнем случае, возьмем можжевельник – ежика. Надо же вносить хоть какой-нибудь уют в нашу жизнь. Как хорошо, что мы – товарищи, живем так дружно, сплоченно.

Могу только опять повторить, что хороший человек Левитский. Как наивно-добро светятся иной раз его глаза! Мы раньше часто с ним спорили ожесточенно, даже немного пикировались. Теперь, чтобы ничем не волновать меня, он старательно избегает всяких спорных вопросов, так предупредительно деликатен. Удивляет меня только, что иногда, получив письмо от своей жены, он целые сутки оставляет его нераспечатанным и только на другое утро, собираясь отвечать, прочитывает. Я так с твоими письмами не поступаю, у меня они не залеживаются. <…>

Устно можно было бы с тобой болтать без конца. О! Тогда мы просидели бы с тобой опять всю ночь напролет, как бывало раньше! Эх!

Прощай, милая. Целую крепко много раз.

Твой неразумный Ежа.

25.

Волочиск, 8-го ноября 1914

Сегодня опять нет от тебя письма, Шурочка. Грустно. Боюсь я, не затерялись ли твои письма. Дело в том, что сегодня одна из наших сестер получила письмо с пометкой «просмотрено военной цензурой». А было [оно] тоже адресовано «до востребования». Может быть, некоторые письма наугад просматриваются, задерживаются и теряются… Может быть, и мое письмо от 17/X пропало таким же образом…

Сегодня Раф. Мих. именинник и выглядит именинником, сияет, угощает публику привезенным из Львова. Он такой чудак, особенно когда бывает в веселом настроении, так бы и обнял весь мир… Справляет свои именины и наш денщик Михаил. Мы ему собрали рубль, подарили табаку и конфет. Пускай все-таки почувствует разницу, что не все дни похожи друг на друга.

Получил сегодня длинное письмо от матери. Всё тоскует, не может примириться с потерей [сына]… <…> Сто рублей, которые я послал недавно, мать не желает принимать, хочет их присоединить к прежде присланным 50-ти рублям и сохранить для меня. Не знаю, как ее уговорить, у меня ведь и так сейчас достаточно лишних денег. <…>

Сегодня был у нас чудесный зимний солнечный день. Смотрел я в окно, и так хотелось гулять по полям на лыжах, подышать свежим морозным бодрящим воздухом… Да, лыжи придется сдать в архив уже окончательно… Но ведь так много в жизни красивого останется мне

еще, вся внутренняя духовная сторона! Самого ценного ведь я еще не лишаюсь… Шурочка, милая, ты не думай, что у меня мысли грустные. Нет, я просто констатирую факт, и рад, что еще много, много хорошего и прекрасного ожидает меня в будущем помимо того, чего я лишаюсь…

Читал я сегодня рассказ Бунина «Суходол», где дается психологически-бытовая картинка вырождающегося деревенского барства, да и не только барства, но и всего с ним связанного – челяди, дворовых. Есть какая-то особенная лирическая грусть в повествовании Бунина. Как мягко и нежно и вместе с тем правдиво очерчены его образы. И какая тонкая психология! Как глубоко он проникает в самое нутро славянской души, «Гате russe». Недаром он взял эпиграфом своей книги: «Веси, грады выхожу, Русь обдумаю, выгляжу». Да, он и выглядел, и обдумал, и описал. Шурочка, я тебе скоро пришлю книгу. Ты непременно прочти хоть первый рассказ, хотя и другие стоят того. Милая, подожди, мы с тобой еще много, много будем вместе читать.

Будет ли завтра от тебя письмо? Вот вопрос, который меня занимает каждый день больше всего. Ведь уже опять два дня я сижу без ничего. Милая, окружают меня коллеги со всех сторон, не дают писать, смеются, веселье, праздник… Прощай, милая. Будь умницей, спи хорошо, поправляйся и дожидайся терпеливо своего

Ежика*.

«Русское слово» сегодня наконец получили.

* Далее приписка на полях письма.

26.

Волочиск, 9-го ноября 1914

Милая, бедная моя Шурочка. <…> Скажу просто: милая, не горюй, придут лучшие дни, наши дни, а в настоящем горе[165] ты не одна, а я с тобой, как и раньше, как всегда. Убеждать тебя не стану, но и плакать с тобой не буду. Осушу твои слезы поцелуями и скажу: милая, славная моя Шурочка, имей еще немного терпения, подожди еще немного, не падай духом, не отчаивайся, не отказывайся от веры в счастье, в людей из-за отдельных гнусных личностей. Да разве они могут задеть то, что нам дорого? Ведь они этого не понимают, это им недоступно. Они могут нам чинить препятствия, преграды, но задеть то, что нам свято, они не могут. <… > Ведь не всё ли равно и тебе, как и мне, знают ли люди, к кому ты собиралась ехать, или не знают? Нас от этого не убавится, как не убавится и того, что нас связывает так крепко в одно целое. <…>

А что наши надежды не сбылись, это конечно горько, но, Шурочка, я уже мысленно примирился с этим, убедился в том, что ты не приедешь еще тогда, когда ты мне писала, что тебя не выпускают из дифтеритного отделения. Но ничего, Шурочка, мы это дело как-нибудь поправим. Я надеюсь найти какой-нибудь способ выбраться отсюда, на несколько дней хотя бы.

В соседнем госпитале, который нашему П. П. служит образцом во всех отношениях, начали придумывать всякие поручения и уже отправили одного ординатора в командировку в Киев на две недели. По очереди они все там собираются поехать, кто в Москву, кто в Харьков, кто в Киев. Я думаю, что П. П. можно будет уговорить устроить такие же отпуска и нам. Может быть, мы скоро увидимся в Москве, кто знает!

А если это не пройдет, то придумаем еще что-нибудь. Голь на выдумки хитра. Только нельзя все свои надежды основывать на чем-нибудь одном исключительно. Разочарование тогда слишком больно. Нет, Шурочка, мы будем всегда иметь в виду, что наш план может и

[165] Ал. Ив. горевала, что ее не отпустили из Морозовской больницы повидаться с Фр. Оск.

не удаться и что нам придется придумывать новое. Но неужели мы всё свое счастье построим на зыбком песке возможной удачи или неудачи?

Поищем для себя утешения и в сознании того, что мы с тобой, Шурочка, еще в сравнительно хороших условиях. Ты подумай, как много молодых людей сейчас в окопах уже по месяцам не имеют даже известий от своих дорогих и близких. Нет, Шурочка, ты не будешь унывать, как и я не буду. Мы терпеливо будем искать новой возможности повидаться, встретиться. Мы никогда, ни на минуточку не будем допускать, что огонек наш может погаснуть. <…> Ты должна верить, Шурочка моя дорогая, моя милая*.

Мое здоровье значительно лучше, думаю скоро встать на работу.

* Далее приписка на полях письма.

27.

Волочиск, 10-го ноября 1914

Глупенькая, маловерная моя Шурочка. Ну, скажи, как мне еще иначе назвать тебя? Как быстро ты предаешься отчаянию! И как мало оснований для него! <…> Я так уверен, что придет время, когда тебе странными и непонятными покажутся все настоящие твои сомнения и мучения! Вы, женщины, все-таки лишены перспективы. Вы исключительно обращаете свой взор на настоящее. Оно вас подавляет или воодушевляет. <…> И как тебе, Шурочка, не совестно говорить, что когда я тебя в письме ласкаю, то не тебя я люблю! И еще как тебе, Шурочка, не совестно писать, чтобы я о тебе не думал, не стоит!

Я сегодня буду строг и неумолим. Наказать тебя за это следует. Ах ты такая-сякая, это ты говоришь мне, который тебя только после полуторагодового знакомства, после долгого испытания и проверки впервые назвал своей милой, дорогой женушкой! Мне, который всегда так скуп был на ласки, всегда так избегал слова «люблю»! И ты этому придаешь так мало значения, что житейская неудача, обманутое ожидание сразу могут тебя бросить в тяжкие сомнения!

Ну что, Шурочка, ведь совестно, моя маловерная? И не оправдывайся тем, что это следствие малой веры в себя, – нет не в себя, а в меня. Ты в меня не веришь, тяжкий ты грех взяла на свою душу. Ну, после головомойки для первого раза тебе прощается, но только для первого раза. В случае повторения придется придумать какое-нибудь наказание. Нет серьезно, Шурочка, ты никогда больше не должна так малодушествовать, никогда, никогда! Noblesse oblige![166] А есть ли в тебе что-нибудь достойное моей ласки или нет, это не тебе судить, ты в этом некомпетентна! Остается еще вопрос о достоинствах и недостатках Мороз[овской] б[ольни]цы, но об этом в другой раз. На сегодня с тебя хватит головомойки.

Ну что, Шурочка? Как ты себя теперь чувствуешь после головомойки? Ведь уничтожена и разбита по всем пунктам? Я уверен, что когда до тебя дойдет это письмо, ты сама уже не будешь нуждаться в его доказательствах, туман пройдет сам собой. Пускай он будет последним!

Милая, а я опять к тебе с просьбой. Прошу прибавить к посылке еще книгу Лихтенберже «Современная Германия»[167]. А затем хотел я тебя еще попросить

купить для моих коллег три алюминиевых складных стаканчика. Помнишь, мы с тобой покупали у Мейера на Кузнецком[168] за 60 коп.? Им очень понравился мой стаканчик, и они спорят из-за него.

---

[166] Noblesse oblige (*франц.*) – Положение обязывает.

[167] А. Современная Германия. СПб., 1914; То же. М., 1914.

[168] На Кузнецком мосту в д. 22–24 находился ботанический магазин К. А. Мейера и магазин О. И. Гумберта, торговавший металлическими товарами из Англии.

Сегодня я первый раз вышел гулять (после болезни. – *Сост.).* Пошел к госпиталю, обошлось совсем хорошо. Чудесная погода: солнце, мороз, белый блестящий снег в поле так и скрипит, – хорошо! Посмотрел я госпиталь. Он сейчас устроен вполне прилично: сделаны шкафы для инструментов, для перевязочных материалов, для аптеки, всё выкрашено, чисто, тепло, поставлены умывальники, часы, – в общем, работать можно. Только бы вместо П. П. поставить Зайцева – всё было бы хорошо! И больных новых всё нет, говорят, около двух недель нам новых не подложат.

Ну, прощай, моя милая, не унывай, будь умницей, всякому горю бывает конец.

Твой неизменяющийся,

всё тот же Ежка.

<…>

28.

Волочиск, 12-го ноября 1914

Ну, вот видишь, Шурочка, я не ошибся. Твое сегодняшнее письмо (от 8/XI) написано уже совсем другим тоном, хотя ты и говоришь: «Найти бы только веру в себя», но уже чувствуется, что эта вера скоро будет найдена, выздоровление не за горами! В награду сообщаю тебе приятную новость: наклевывается возможность для меня приехать в Москву! Пока я еще ничего не могу сказать уверенно, но первые шаги сделаны, и результат пока ободряющий.

За столом зашла речь о том, что здесь хотят устроить нечто вроде общественного собрания, будет буфет, карты, предполагается елка. Я по этому поводу вызвался поехать за елочными украшениями и сластями. П. П. охотно согласился, говорит, что можно будет устроить командировку в Киев. Я на это возразил (ты видишь, я по этому случаю даже начал разговаривать с П. П.), что в Киеве того не достанешь, что можно достать в Москве, что лучше взять курс прямо на Москву.

Сначала он отнекивался, говорил, что дальше Киева не имеет права отпускать, но когда Левитский ему предложил после меня отправить его в Тамбов, будто бы за лошадьми (нам на днях выдадут «лошадиные»), и стал расписывать, что всё равно работы в госпитале сейчас нет, то он через некоторое время стал уже серьезно говорить о тех поручениях, которые он мне даст выполнить в Москве. Я, конечно, вызывался достать ему всё, что он только пожелает. Окончательно мы не уговорились еще, этого требует дипломатия, но наши надежды весьма сильно возросли, как ты можешь себе представить. Надо теперь придумать приличный предлог и вообще выяснить подробности.

Так хотелось бы хоть недельку побывать в Москве. Я даже думаю, если удастся, денечка на два махнуть в Ригу. Но это только тогда, если мне дадут пробыть в Москве minimum неделю. Ведь иначе совестно будет не заглянуть к своим.

Прошу тебя, Шурочка, только не ликовать слишком рано, ведь, может быть, это только мираж, – горче будет разочарование! Так что, Шурочка, ты пока смотри на это только как на возможность и не строй слишком радужных и поспешных планов! Сегодня П. П. по делам уехал, и больше не пришлось говорить на эту тему.

Вчера после обеда мы с Левитским и аптекарем поехали на санях в Подволочиск по делам. Чудесная погода: густой бархатный иней покрывает собою всё, ярко светит солнце, ветра никакого, мороз около 15°. Прямо-таки роскошно! Я надел шерстяную фуфайку, шерстяной шлем, полушубок Покровского, было тепло, хорошо. Збруч замерз, по нему катались на коньках офицеры Подволочиска. Там мы зашли в госпиталь, увы, не наш, побеседовали. <…>

Вернулись уже довольно поздно, устали – вот почему я тебе вчера не писал. На сердце отразилось немного: в Подволочиске при ходьбе опять давило грудь, а сегодня с утра был пульс

больше 100. <…> Сегодня Р. М. [Левитский] думает меня как следует поисследовать, – посмотрим! В общем, все-таки медленно дело идет на поправку. <…>

Напрасно ты три дня не читала газет. <…> Ну, довольно. Оставайся умницей, не сердись за распеканцию прошлого письма на твоего сердитого

Ежку*.

Всякие сердечные средства давно оставил.

* Далее приписка на полях письма.

29.

Волочиск, 13-го ноября 1914

Сегодня письмо от тебя уже совсем умное. Хвалю за это. На этот раз моя Шурочка быстро справилась от нахлынувшего было шквала. <…>

А сердынько мое – idem, во всяком случае, не лучше. В комнате я человек почти нормальный, но пройдусь – я сегодня пошел в госпиталь – и еле доплетусь домой, теснит грудь, слабость. <…> Сегодня утром П. П. предложил поговорить в эвакуационном пункте относительно отпуска для меня. <…> Во всяком случае, я думаю, что вопрос об отпуске выяснится на этих днях. <…>

Других новостей у нас нет. Левитский продолжает упорно изучать французский язык (увы, я нет!). Покровский постоянно в отлучке, на горизонте с сестрой. Вчера он опять за меня дежурил на станции. Аптекарь продолжает стремиться ко всему спиртному, не всегда бесплодно. Вот и всё.

В госпитале 43 человека. Хирургических нет, все – больные. <…>

Теперь Румыния собирается воевать. Едва ли безучастна в таком случае останется Италия. Приходится желать их выступления, – может быть, хоть тогда война скорее приблизится к развязке. Так хочется верить в возможность скорого окончания!..

Ну, прощай, моя дорогая.

Волочиск, 14-го ноября 1914

«Хоть и сердита, а целую». Сильно сказано! Однако верится как-то больше во вторую половину этого изречения, первое неубедительно. «Я не люблю, когда ты хмуришься». Шурочка, да разве я хмурюсь? Что ты, перекрестись. Надо же, ex officio[169], немного пожурить тебя за непостоянство твоего бодрого настроения! Ведь я только так, несерьезно – пошутил, а ты уже обиделась. Кто же тебя будет учить уму-разуму, если не я, ведь других ты и подавно слушаться не станешь. Ты уж не обижайся, милая. Неужели холодом на тебя повеяло от моих нотаций???!!! Неужели я тебя замораживал???!!! Стоит только поставить эти вопросы, чтобы ответ получился вполне определенный. Ведь так? Что же ты теперь скажешь после всех моих нотаций, прочитанных тебе в последних письмах?! Еще больше рассердишься? Ну не буду впредь, согласен на всякие уступки, только не сердись.

У нас новости: П. П. сегодня рассказывал, что из четырех сводных госпиталей, сформировавшихся в Воронеже, два присланы в Волочиск, а один – в Броды. А только что сообщает ординатор соседнего госпиталя, что видел Кутьку на станции! Он только что приехал, живет еще в вагоне, спрашивал про меня, завтра зайдет. Как тебе это нравится? Три месяца не виделись. Жаль, что он сюда приехал не раньше, все-таки живая душа из Москвы. Эдак, пожалуй, еще с кем-нибудь из Морозовской больницы встретишься. Ну, завтра мы с ним поговорим.

[169] Ex officio *(лат.)* – по должности, по обязанности.

Почему-то мне до сих пор не отвечает мать Кольки Гефтера, которой я писал и спрашивал относительно его судьбы. Что-то он сейчас делает? Жив ли?

П. П. вчера официально запрашивал главного врача эвакуационного пункта относительно отпуска для меня, ответ будет на днях. Он думает, что мне дадут две недели, а я думаю от себя еще прибавить недельку, как-нибудь это устроить. Что, хорошо? Только жаль, что причина такая печальная… Ну, я твердо верю, что когда буду с тобой, мне станет лучше, ведь нельзя же отрицать психических факторов в лечении. А пока всё – idem.

Знаешь, Шурочка, я иной раз мечтаю о том, как мы с тобой устроимся потом, после Морозовской больницы. Снять бы такую небольшую квартирку, как в свое время снимал Кутька: во втором этаже, совсем отдельный вход, три комнаты, светлые, уютные, передняя, кухня, ванная, электрическое освещение, поставить туда светлую стильную мебель, хорошие гравюры и т. д. И зажить бы там припеваючи! Эхма! Утром работать, а весь вечер в полном нашем распоряжении. Уж мы бы знали, как использовать время! Только бы быть здоровым, не стать хроником! <…>

Последние дни получаю от тебя аккуратно по письму, зато из Риги и других мест писем нет совсем, кроме недавнего от матери.

Газеты продолжаю изучать всё столь же усердно и не скажу, что они мне надоели, ведь даже в самые мирные времена я всегда не только читал, а изучал их. Очевидно, по наследству это качество перешло мне от отца. Жаботинский из всех корреспондентов и мне нравится больше всего – наибольшая объективность и талантливое изложение, молодое восходящее светило журналистики. Мысли мои при чтении газет всё те же, не особенно отрадные, тебе известные, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь в правильности моей точки зрения. Сегодня встретился с совершенно подобными же взглядами одного соседнего коллеги…

Ну не сердись, моя голубка.

32*.

Волочиск, 17-го ноября 1914 г.

Шурочка, милая, должно быть, пропали твои письма! Сегодня получил твое от 13/XI, а предыдущее было от 10/XI. Никаких оговорок у тебя нет, да и по содержанию письма мне кажется, что ты что-нибудь писала раньше – ты так подчеркиваешь, что ты теперь бодра и терпелива!.. Неужели пропали письма?.. До сих пор я получал все твои письма, кроме адресованных в армию.

Пишу быстро и немного, потому что сильно устал, только что вернулись из Подволочиска, где искали в покинутой австрийской аптеке медикаменты и т. п. Чудные пейзажи зимнего заката над полями и рекой, чудесное возвращение при полной луне. Для меня это так непривычно и сказочно красиво!

Здоровье улучшается несомненно. Ответа от главного] врача эвакуационного] пункта еще нет. Завтра П. П. будет у него. Надежды много. Ну, прощай, дорогая, спи хорошо без головной боли. Целую.

Ежка.

* Предыдущее письмо утрачено.

33.

Волочиск, 18-го ноября 1914

Милая, сегодня получил от тебя письмо от 14/XI и бандероль с книгами. Последнее совсем неожиданно, должно быть, ты мне об этом писала в утерянных двух письмах (Почему они затерялись? Так обидно!). Книг еще не просматривал, только что получил. Спасибо, моя милая, дорогая, хорошая. Впрочем, должно быть, я скоро сам буду в Москве иметь возможность выбирать себе книги.

Вопрос о моем отпуске находится в такой стадии: главн[ый] врач эвакуационного] п[ункта] куда-то уехал, откомандирован, про меня, очевидно, забыл. П. П. предложил мне сегодня написать и подать ему рапорт о том, что я по таким-то и таким-то причинам желаю получить отпуск на один месяц, чтобы показаться в Москве профессорам, поставить и урегулировать правильное лечение, которое дало бы мне возможность продолжать работу в этом же госпитале.

Приходится лавировать между Сциллой и Харибдой: если недосолить, могут не дать отпуска; если же пересолить, то могут назначить в комиссию, которая в свою очередь может определить врачом в дружину ополченцев, считая, очевидно, это более легкой работой. Дело в том, что один врач с бронхиальной астмой и хроническим миокардитом, признанный комиссией совершенно негодным к службе, совсем больной, задыхающийся, врачебным инспектором был назначен в дружину, где ему теперь приходится делать по холоду и грязи переходы в десятки верст в день! Благодарю за такое облегчение! Я отклонился от темы.

С моим рапортом П. П. завтра утром поедет в Подволочиск и представит его с личными объяснениями полковнику, начальнику эвакуационного пункта.

Я надеюсь, что завтра дело выяснится окончательно. Если даже дадут не месяц, а только две недели, и то хорошо. Но, Шурочка, возможно, что и ничего не дадут, а Р. М. [Левитский] высказывает даже подозрение, не устраивает ли П. П. комедию со всеми этими рапортами, желая улучшить наши взаимные отношения и зная наверно, что из прошения ничего не выйдет. Так что, милая, не будь уже вполне уверена, никогда нельзя знать. А все-таки я уже сильно надеюсь!..

Если дадут месяц, то я сначала недельку пробуду с тобой в Москве, затем недельку-полторы в Риге, а затем опять в Москве! Ух, как заживем! И тогда я лично тебе отвечу на все твои рассуждения по поводу моих слов о «лишенных перспективы женщинах». В тебе, моя милая, опять оскорблена женщина, ее достоинство, а я и не посягал, я просто хотел установить некоторую разницу в мышлении, в реакции на внешние раздражения. И поэтому я вовсе не скажу по поводу наспех прочитанных тобою газет того, что ты предполагаешь. Нет, я с тобой совсем и безусловно согласен. В общем следует признать, что женский вопрос при нашем свидании едва ли послужит камнем преткновения и разрешается нами очень недурно. Так ведь, Шурочка? Дал бы Бог нам почаще доказывать это.

Вчера в Подволочиске, в аптеке мы достали уже немногое, почти всё уже разобрано. Имеется только избыток всяких минеральных вод, которых мы и забрали около 40 бутылок, главным образом щелочные столовые, Vichy etc., Apenta, Franz Joseph, Hunyadi Janos. Эти поездки мне страшно нравятся из-за впервые открывающихся красот природы. Тебе всё это знакомо, но мой восторг велик и искренен.

Левитский немного огорчен, что на его долю в посылке нет ничего. Он так надеялся на словари и хрестоматии с переводом. Мы это поправим, выберем сообща!

Давно уж, кроме как от тебя, ни от кого не получаю писем!

Сейчас 12 ч. ночи. Все спят и тихо, а по комоду на подоконник перебирается осторожно красивенький наивный мышонок, их здесь много. Аптекарь их боится до смешного. Кутька все эти дни так и не приходил.

Общественное собрание, довольно примитивное, у нас, вероятно, откроется через неделю. Взносы сделаны.

Ну, прощай, дорогая, хорошая. Спи хорошо.

Твой Ежа*.

Бедная! Опять у тебя голова болит так часто! И опять этот pyramidon играет видную роль!

* Далее приписка на полях письма.

34.

Волочиск, 19-го ноября 1914

Ну вот, Шурочка, я сегодня с опозданием получил все-таки твое письмо от 12-го, а также очередное ликующее. Ох, боюсь, Шурочка, как бы не сглазить. Сегодня вышло так неудачно: П. П. поехал в Подволочиск, а одновременно начальник эвакуационного] пункта поехал сюда, в Волочиск, осматривать госпитали. П. П. немедленно вернулся, ждали здесь в госпитале, но к нам он почему-то не явился. Так и не удалось передать ему рапорт.

А П. П. собирается на этих днях опять во Львов, встречает, кажется, кроме того свою жену. Я все-таки думаю, что он завтра нарочно поедет в Подволочиск, чтобы лично переговорить относительно причин моего ходатайства. По крайней мере, он сегодня за обедом говорил, что просто так послать рапорт без словесных комментариев не следует. Придется, значит, еще подождать. Все-таки я сильно надеюсь.

Я сегодня написал матери, что, может быть, удастся получить кратковременный отпуск и появиться на несколько дней в Риге, что мы теперь ищем как бы устроить это официально, с отпускной бумагой. Конечно, ни слова об истинных причинах. Если буду в Риге, то расскажу старшему брату, и только.

В остальном у нас без перемен, даже cor[170] – idem. Следует только отметить весьма предупредительное к нам отношение П. П-ча, деликатность чрезвычайная.

Левитский купил себе за трешник балалайку и бренчит на ней без устали, забывая даже французский язык. Какая ни на есть музыка, а все-таки музыка! <…>

Кутя всё не заходит. От матери Кольки Гефтера я сегодня получил письмо, в котором она мне только пишет, что сын ее до сих пор находится где-то под Москвой, не объясняя где, почему и в каком чине и должности. Для меня это загадочно, так как московские гренадеры, по газетным известиям, были уже во многих боях и потерпели весьма крупные потери. Почему он остался? Что же, я этому только рад.

Получил также сегодня открытку от Зайцева из Воронежа. Пишет, что у него сейчас там много работы. Говорят, что их переведут на Кавказ. Кажется так, что всё более или менее работают, только мы здесь в Волочиске почием на лаврах. <…>

Мне очень нравится Елпатьевский. Он пишет просто и сердечно. <…> Надо будет купить его «Крымские очерки»[171].

Милая, ты, может быть, удивляешься, почему я в последних письмах не задеваю тех вопросов, которые мучают нас обоих. Но я боюсь, что в таком случае письмо может и не дойти до тебя, я стал более осторожен. И я так надеюсь, что скоро, скоро мы с тобой лично обо всем поговорим, что нас волнует, чем мы живем. Все-таки я продолжаю верить, что к весне война кончится.

Шурочка, дорогая, как хорошо будет наше свидание, только бы не сглазить! Ты мне только обещай, милая, что если почему-либо моя поездка не состоится, ты не будешь отчаиваться и падать духом. Поверь, что я постараюсь изыскать другой путь, другие поводы.

Твой Ежка.

---

[170] Cor *(лат.)* – сердце.

[171] *Елпатьевский С. Я.* Крымские очерки. М., 1913 (2-е изд. – 1915).

<…>

35.

Волочиск, 20-го ноября 1914

Милая, сомнения терзают меня, сегодня я порядочно нервничал. Дело об отпуске осложняется чем дальше, тем больше. Дело об отпуске осложняется чем дальше, тем больше. П. П. поехал сегодня в Подволочиск, но наткнулся на целый ряд «но». Надо предварительно отметить, что начальник] эвакуационного] п[ункта], который отпустил коллегу на месяц, о чем я тебе раньше писал, недавно сменен за что-то, а на его место назначен весьма суровый служака, наводящий ужас и страх на всех. При старом-то это было бы пустяк устроить, и сомнений не могло бы даже быть. Тот был милейший господин!

Другая личность, играющая некоторую роль, это главн[ый] врач эвакуационного] п[ункта]. Он недавно уехал на целый месяц. Это не беда, что он уехал, потому что он личность суровая и взбалмошная. Он обижался, когда его называли доктором – он прежде всего статский советник!.. Его сейчас заменяет его помощник, очень милый и предупредительный господин, который с удовольствием сделает всё что может. Вот та обстановка, в которой приходится действовать.

Так вот, начальник] эвакуационного] п[ункта] сначала заявил П. П., что отпусков он никому не дает, а если кто болен, то пускай лечится в госпитале. Затем немного смягчился и заявил, что необходима комиссия в Киеве, что, дескать, она определит и назначит. П. П. старался его убедить, чтобы комиссию устроить здесь, а отпуск давать не в Киев, а в Москву, где у меня есть знакомые профессора и подходящая обстановка. Наконец он заявил, что передаст и. д. главного] врача, с ним посоветуется. Так П. П. с ним и покончил.

Поговорил он затем с этим самым главным врачом. Тот был очень мил, согласился со всеми доводами П. П-ча и обещал устроить всё возможное, назначить комиссию здесь и отправить в Москву. П. П. его предупреждал, чтобы он устроил бы так, чтобы меня не отправили бы как слабосильного куда-нибудь в дружину. Обещал и это.

Теперь вопрос в том, передаст ли начальник] эвакуационного] п[ункта] мой рапорт для дальнейшего направления главн[ому] врачу, или завтра, просматривая его, просто поставит резолюцию: отказать! Для резолюции он ему будет представлен завтра. Вспомнит ли он обещание передать главкому] врачу? За того я ручаюсь. Про него все говорят, что он очень милый человек. П. П. на мой вопрос, какое у него осталось впечатление, попаду ли я в Москву, ответил, что ему кажется, что да.

Ты видишь, Шурочка, мы с ним чуть ли не друзьями сделались! А он 23-го на несколько дней уезжает во Львов. Так что в комиссию я попаду уж без него. Если мне дадут отпуск, я подожду его возвращения, чтобы конец отпуска пал бы на Рождество. Ты подумай, Шурочка, как хорошо, если Рождество я мог бы провести в Москве!

Вот я теперь и терзаюсь сомнением, дадут или не дадут? Так страстно хочется, чтобы дали! Я так боюсь, Шурочка, что ты опять упадешь духом, у тебя начнутся сомнения и терзания. Крепись, Шурочка. Если не сейчас, то другой раз!

Читаю Осоргина «Очерки Италии». Мне нравится, он пишет просто, без претензий и хорошим стилем.

Получил сегодня твое письмо от 16/XI. Как хорошо, если бы и тебе удалось уйти из дифтерита. Сколько бы у нас было времени! И уж конечно, читали бы вместе. Мне только немножко завидно о твоих успехах в языках. Я остановился на мертвой точке. Мне совестно, ведь, в сущности, мне немного нужно, чтобы одолеть французский язык.

Мы сегодня смотрели лошадей, приценивались. Завтра опять будем смотреть, должно быть, и купим. Денег куры не клюют. Есть на что пожить в Москве, и на подарки хватит, только бы доехать. <…>

Как твоя голова? Неужели продолжает так часто болеть?! Обходись, ради Бога, без pyramidon'a!

Твой Ежка.

<…>

36.

Волочиск, 21-го ноября 1914 г.

Надежда еще не потеряна, милая моя Шурочка, хотя вопрос всё больше осложняется. Дело в следующем. Поехали мы сегодня с Покровским по направлению в Подволочиск смотреть лошадей. Заодно решили заехать и в самый Подволочиск, поговорить с гл[авным] вр[ачом] эвакуационного] п[ункта], узнать от него что и как. Человек он оказался в самом деле милый, но всё же огорошил меня с самого начала заявлением, что у нас, как главном эвакуационном] пункте, не может быть никаких комиссий, что даже мечтать об этом не приходится. А начальник эвакуационного] п[ункта] относительно моего рапорта и не думал с ним переговорить. Всё это кончено. (А П. П. вчера утверждал обратное. Либо он глуп, либо хотел из себя корчить благодетеля!) При прежнем начальстве это можно бы устроить, но теперь даже речи быть не может!

Я, конечно, сразу поник головой. Тогда он мне посоветовал следующее: как больной, я могу быть эвакуирован во всякое время, только я буду тогда направлен в Черкассы, как наш тыловой эвакуационный] пункт, где я должен буду представиться комиссии, от которой будет зависеть дальнейшее. Он тут же прибавил, что в комиссии в Черкассах заседают люди хорошие, с которыми можно говорить по-человечески. Во всяком случае, это единственный легальный путь попасть в Москву. О нелегальных путях я теперь и не мечтаю, так как П. П. при смене начальства ни за что не рискнет.

И вот я только что настрочил длинное весьма убедительное письмо Алексею Афанасьевичу [Морозову] в Черкассы, узнать через посредство его главного врача, каковы будут мои шансы в случае, если я представлюсь комиссии. Его главный врач очень толковый человек, и я надеюсь, что он мне ничего глупого не ответит, а узнает толком. Я ему подчеркнул, что я ни в коем случае не соглашаюсь на перевод или отпуск куда-нибудь в Тмутаракань, что мне нужен только отпуск и только отпуск в Москву, всё остальное меня не устраивает.

Теперь буду с жгучим интересом ждать от него ответа, который может быть только через неделю. Если ответ будет благоприятным, – а мне так хочется верить, что это будет так, – то мне придется еще несколько дней числиться здесь больным в госпитале, а затем уже только можно будет и эвакуироваться. Как видишь, Шурочка, даже в лучшем случае канитель еще на две с лишним недели.

Ты помнишь, милая моя Шурочка, как мы во время оно оба утверждали, что характер у нас непостоянный, – с глаз долой, из сердца вон!? Ты помнишь? А что же оказывается на самом деле? Как раз обратное. Наша кривая возрастает и не видно конца! Душа моя стремится к тебе! Милая, я знаю, что даже у тебя уже нет сомнений на этот счет. Чудно устроен человек!

Мы сегодня купили пару лошадей и санки. Долго торговались: мы давали 150 р. за пару, а продавец требовал 280 р. Сошлись на 220 р., да санки 25 р., да упряжь тоже 25 р., да на чаи. Вот и обошлось нам всё удовольствие в 275 р. Разделить на три: пай 92 рубля! Впервые я являюсь владельцем лошади. А кони добрые, как кажется, в особенности, когда мы их подкормим. И кажется, что мы не слишком переплатили. Я пока доволен. Только как назло и сегодня тает,

дороги портятся, а мы рассчитывали только на зимний путь. Сниму лошадок, пришлю тебе фотографию, хотя тебе и неинтересно.

От тебя сегодня письма нет, вообще нет письма. Газету еще не успел прочитать. Завтра едем в баню. Я, конечно, со всей осторожностью. Осоргина заканчиваю, очень доволен им. Я Левитскому много наговорил о Кони, заинтересовал его, хотел бы ему прочитать многое из него… 1-й том писем Чехова вышел 2-м изданием, на днях вышел или выйдет 5-й том.

Моя единственная, прощай, не унывай, как не унывает твой

Ежка*.

Шурочка, не пришлешь ли те французские словари, а если можно, и хрестоматии с переводом на русск[ий] яз[ык], о которых я тебе в свое время писал? Левитский сильно надеется, что ты пришлешь!!!

Надо подписаться на «Солнце России», 1915 г. Белорусов, «Франция» тоже вышли. Ты не забудешь подписаться на «Русск[ое] сл[ово]» на декабрь? <…>

В комнате жарко натоплено. Левитский играет на балалайке. Старшая сестра – злюка, злится и дуется на Левитского.

Милая, целую много, много раз.

* Далее приписки на полях письма.

37.

Волочиск, 23-го ноября 1914 г.

Опять уже второй день нет от тебя писем!.. Старая история. Только на этот раз я себе объясняю причину несколько иначе. Может быть, ты под влиянием моих сообщений о вероятности скорого моего приезда подумала, что твои письма меня уже не застанут здесь и не писала… И как горько, как обидно должно быть разочарование после такой уверенности! Но мы еще повоюем! Посмотрим, что ответит Ал. Аф-ч. Мне почему-то кажется, что все-таки я, в конце концов, к Рождеству буду в Москве. Может быть, такая вера и наивна, но так хочется верить!.. Хочется поскорей твоих писем, знать, как ты реагируешь на все перипетии, веришь ли еще в возможность моего приезда, как я.

Новых данных сегодня нет и, вероятно, не будет до ответа Ал. Аф-ча. Шурочка, знаешь, мы вот как с тобой условимся: в случае благоприятного ответа из Черкасс, я тебе даю телеграмму, что, дескать, такого-то выезжаю в Черкассы. Аты тогда рассчитаешь и пошлешь письма уже туда «до востребования», считая, что отсюда до Черкасс minimum двое суток с санитарным поездом. Там, я сильно надеюсь, пробуду не больше суток. Конечно, сейчас же и оттуда дам тебе телеграмму. Всё мечты, мечты…

День сегодня прошел ничем не замечательный, если только не считать баню. Знаешь, Шурочка, до сих пор без изменений загар с острова Nagu! Уж не останется ли он совсем? Что же, я ничего не имею против, – постоянное воспоминание о тех счастливых и безмятежных днях!

Завтра П. П. едет во Львов. Если бы я поехал, я накупил бы подарков моей жинке, родителям, сестренкам. Я не знаю, куда девать деньги. Послать домой я еще не хочу, пока не выяснится моя поездка, а сейчас меня смущает количество ассигнаций в портфеле. Так и хочется поехать «в город» и растратить поскорее. А жалованье мы получим, когда вернется из Львова П. П.! Да еще 100 р. на покупку теплых вещей! А я сижу и ничего не делаю! Как тебе это понравится? Совестно получать деньги, а ведь не отказываться!

В последнее время я замечал, что злоупотребляю в письме восклицательными знаками. Неужели я такой экспансивный человек?

Получил ли Ник. Ив. мое письмо, написанное недели полторы тому назад?

Осоргина я прочел. Начинаю Dioneo «Меняющаяся Англия». Читаю вообще сейчас много, очень подробно газеты, ведь я хочу разобраться, докопаться до истины.

Написал сегодня матери. Опять пишу, что есть надежда выбраться на Рождество к ним, не пишу, как и почему.

Шурочка, мои письма к тебе в последнее время меня совсем не удовлетворяют, они кажутся сухими и скучными. Я боюсь задевать некоторые жгучие темы, чтобы избежать возможности задержки их, но чувствую, что качество их сильно понизилось, и мне совестно. Мне так хочется лично поговорить с тобой о многом! И приходится всё повторять «когда это будет?» и ставить восклицательные знаки. А ведь тем много, за ними дело не станет. <…>

Жду твоих писем, моя дорогая.

Твой Ежка.

38.

Волочиск, 23-го ноября 1914 г.

Ну, Шурочка, поздравляю, – радость! Сегодня внезапно получаю бумагу, что я назначен на завтра в комиссию в один из здешних госпиталей, даже не в Подволочиск. Каким это образом устроилось, правда, не знаю. Председатель комиссии один из наших главных врачей, симпатичный человек. Три члена комиссии составляются из врачей трех других госпиталей – одного старшего и двух младших ординаторов.

Я только что вернулся от завтрашнего председателя, рассказал ему весь анамнез и status praesens[172]. Он сказал, что они могут отпускать в отпуск до полугода, куда угодно, по выбору пациента; могут освобождать не только с органическим, но и с функциональным страданием сердца. Я ему сказал, что в Москве хотел бы показаться Плетневу, вообще поставить правильный диагноз и терапию, не запуская свою болезнь. Я вынес такое впечатление, что комиссия, если только убедится, что я не вру, – а это нетрудно будет доказать при наличности объективных данных, – не будет препятствовать отпуску.

Я его еще спросил относительно утверждения резолюции. Он говорит, что отпуска всегда утверждаются (кем – я не знаю), что бывают препятствия при утверждении резолюции: «Совершенно негоден к службе». Одним словом, Шурочка, я сейчас почти убежден, что попаду в Москву к концу месяца. Хочу непременно устроить так, чтобы Рождество, а если возможно, и Новый год, попали бы на отпуск. П. П. поехал сегодня в Москву. Его возвращения я дождусь во всяком случае.

Шурочка, опять одно твое письмо пропало, от 17/XI. Я сегодня получил от 18/XI и 19/XI. <…> Был у меня сегодня Кутька. Оказывается, что он все эти дни находился во Львове, которым очень остался доволен. Я был и у него сегодня (их квартира рядом с квартирой председателя [комиссии]) и слушал там впервые после долгого перерыва серьезную музыку. Лазарь Абрамович Финкелынтейн играл на скрипке. Не очень важно, но все-таки хорошо.

Ну, прощай, милая моя. До скорого свидания,

Твой Ежа.

Хотя это письмо и краткое, но я думаю, что тебе понравится!

Сердце в общем лучше. Хорошо поправляюсь в весе. Вид хороший.

39.

[172] Status praesens *(лат.)* – настоящее состояние.

Волочиск, 24-го ноября 1914

Чудно, Шурочка! Была сегодня комиссия, или вернее, я представился комиссии. Расскажу по порядку. Утром, конечно, волновался порядочно. Лошади наши к 12-ти часам оказались не на месте, и пришлось пройтись пешком в соседний госпиталь, да еще там подняться на третий этаж. Пульс, конечно, жарил вовсю, чувство стеснения в груди, одышка, всё как следует быть. Комиссия не показная, а серьезная. Исследовали меня весьма тщательно, без пристрастия, но доброжелательно. <…> Впечатление такое, что они налегают больше на невроз сердца, быть может, специфического для Basedow'a характера[173]

[173] Подозревалась Базедова болезнь – тиреотоксикоз с увеличением щитовидной железы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.